
А л е к с а н д р Ш и п к о в

ТРАДИЦИОНАЛИЗМ,
ЛИБЕРАЛИЗМ
И НЕОНАЦИЗМ

в пространстве актуальной политики



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Александр Щипков

**ТРАДИЦИОНАЛИЗМ,
ЛИБЕРАЛИЗМ И НЕОНАЦИЗМ
В ПРОСТРАНСТВЕ
АКТУАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ**

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2015

УДК 329.18

ББК 66.68

Щ 861

Рецензенты:

доктор политических наук, профессор *М. М. Мчедлова*,
(факультет гуманитарных и социальных наук РУДН)

доктор политических наук, профессор *С. Ф. Черняховский*
(Европейский институт JUSTO)

Щипков А. В.

Щ 861 Традиционализм, либерализм и неонацизм в пространстве актуальной политики. – СПб.: Алетейя, 2015. – 80 с.

ISBN 978-5-9905927-1-1

Борьба за историю, переписывание истории, «нормализация» истории – тренд последних лет, активно меняющий состояние общественно-политического пространства. Одна из важных болевых точек, которых приходится сегодня касаться в рамках новых оценок исторических концепций и актуальной политики – это тема фашизма и неофашизма. Ещё недавно феномен фашизма считался предметом только лишь исторических штудий. Но мировые события десятых годов XXI века дают понять, что предмет разговора отнюдь не превратился в исторический реликт. Мифология неофашистов, а также формы и методы их действия, в чём-то остаются прежними, а в чём-то заметно меняются. Анализу неофашизма как современного явления посвящена эта книга.

УДК 329.18

ББК 66.68

ISBN 978-5-9905927-1-1



9

785990 592711

© А. В. Щипков, 2015

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015

Shchipkov A.

Traditionalism, Liberalism and Neo-Nazism in the Realpolitik context. – Saint-Petersburg: Aletheia, 2015. – 80 p.

Fighting for history, the rewriting and “normalization” of history are trends that have been actively transforming the social and political context in recent years. One of the most significant sore points, which has to be touched upon within the framework of the new evaluation of historical relations and the current politics, is the phenomenon of Fascism and Neo Fascism. Until recently it seemed to be nothing more than a subject of historical studies, but the events of the of the 2010s make it clear that the issue has by no means turned into a relic. In some respects the mythology of Neo-Fascists, their methods and practices stay the same, while in others there are noticeable changes. The book is dedicated to analysis of Neo-Fascism as a contemporary phenomenon.

СОДЕРЖАНИЕ

I.

Смысловая эволюция современного неолиберализма . . .	5
Этническое в современной политике: опасности неонацизма	11
Неофашизм как понятие: идейные дискуссии и границы смыслов	16
Генеалогия и телеология современного неонацизма . . .	21
Бинарная теория тоталитаризма: пределы применимости	28
Дискурс политики и реальная политика	34

II.

Традиция в политике: теория и аксиология	41
«Борьба за традицию»: новая форма политической легитимации	46
Концепт традиции в российском политико-идеологическом пространстве	53
Традиция и модернизация: возможно ли пересечение предметных полей понятий	60
Консервативный социализм: идеологические особенности в современной России	66
Заключение	72
Список литературы	74
Указатель имен	77
Об авторе	78

CONTENTS

I.	
Conceptual evolution of modern neoliberalism	5
The ethnic in modern politics: the dangers of neo-Nazism .	11
Neo-Fascism as a concept: ideological debates and boundaries of meanings	16
Genealogy and teleology of modern Nazism	21
Binary theory of totalitarianism: limits of applicability . . .	28
Political debate and realpolitik	34
II.	
Tradition in politics: theory and axiology.	41
“Fighting for tradition” as a new form of political legitimation	46
The concept of tradition in Russian political-ideologic context.	53
Tradition and modernization: whether the intersection of conceptual object fields is possible	60
Conservative socialism: ideologic patterns in modern Russia	66
Conclusion	72
Reference index	74
Name index	77
About the author	78

СМЫСЛОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ СОВРЕМЕННОГО НЕОЛИБЕРАЛИЗМА

Ситуация начала XXI века показывает, что мы имеем дело с окончательным отказом от моральных критериев в мировой политике. На внешнем, пропагандистском уровне этот процесс прикрывается неолиберальной риторикой с её мессианскими тезисами об «устойчивом развитии», «вызовах времени» и «правильной и неправильной сторонах истории». В какой-то мере претензия на глобальность исторических и политических задач делает неолиберализм похожим на марксизм-ленинизм. Правда, вместо доктрины исторического материализма используется протестантский фундаментализм в его специфической геополитической версии. Беглое представление об этой теории дают основные положения диспенсационализма – доктрины, весьма популярной среди американских элит.

Есть ещё одна общая черта, которая роднит марксизм-ленинизм и неолиберализм. Последний, как и первый, существует в двух формах: как экономическая теория и как философская конструкция. Причём первая приносится в жертву второй. Так, реальная «рыночная экономика» в рамках неолиберализма является фикцией и пустым лозунгом, поскольку на практике экономика предельно монополизирована. Зато монополизированная глобальная экономика порождает «рыночное общество», основанное на ценностях статусного потребления и товарного фетишизма.

И это, конечно, кардинально отличает неолиберальную доктрину от коммунистической. Отличает её и глобальное экономическое неравенство, основанное на мировом разделении труда. Неолиберальный мир поделён на зоны «золотого миллиарда» (центра) и его экономических колоний (периферии). При этом происходит постоянный отток капитала с окраин в центр (современный вид дани). Например, так: товары дешевле производятся в странах третьего мира, но продаются на дорогих рынках Запада, при этом прибылью с производите-

лем никто не делится. Кроме того, финансовая система и финансовые ресурсы периферийных стран полностью привязаны к аналогичным институтам стран «центра».

Ещё больше отличий неолиберализма от коммунизма можно найти в области информации и пропаганды. Информационный прессинг диспетчеров неолиберального миропорядка грубее и безапелляционнее авторитарной коммунистической идеологии. Публицист Фёдор Лукьянов в связи с этим так характеризует инцидент с малайзийским «Боингом», сбитым над Украиной в 2014 году: «К сожалению, международная информационная среда так устроена, что доказательств-то и не нужно. Посмотрите, доказательств нет, вопросов много, а мир в основном полагает, что самолёт сбили повстанцы. Это уже практически аксиома. Версию об ответственности Украины почти никто, кроме России, и не рассматривает. Цинично говоря: а зачем доказательства, если и так нормально? Надо учитывать, что медиа – это очень мощное оружие. Причём это сфера, в которой западная гегемония по-прежнему сохраняется, хотя она слабеет в других областях – экономике, политике» [34].

В распоряжении советских идеологов была пусть и классовая, но всё же мораль. У современных либералов нет иной морали кроме самой архаичной античной идеи противостояния «цивилизации и варварства». Но если, например, у древних римлян субъектность «варваров» была величиной постоянной – всем было ясно, кто такие варвары, где они живут и откуда могут прийти, – то в рамках современной политической доктрины США и их союзников кандидаты на роль варваров определяются назначающим жестом, в зависимости от сиюминутных политических интересов правящих элит. Например, в 1997 году это были сербы. После 11 сентября 2001 года – Ирак, Ливия, Сирия. В 2014 году – Россия и этнические русские на Украине.

Борьба с «варварством» (и насаждение «демократии под ключ») ведётся с помощью постановочных «революций». Тот факт, что при этом на смену умеренно авторитарным и просвещённым режимам приходят фундаменталисты в лице салафитов, «братьев-мусульман», а на смену коррумпированному правительству в Киеве – другое, не менее коррумпированное, но при этом вдобавок исповедующее неонацизм, никого

особенно не волнует. Главное не результат, а участие. И если факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов. Все эти процессы указывают на обращение западных элит к новым формам неокOLONиализма – таким, которые были абсолютно невозможны в период противостояния «двух систем». Следовательно, именно здесь проходит линия кардинального отличия неолиберализма от коммунизма при их общей склонности к авторитарным методам.

До XX века идеология европейского колониализма оформлялась в сугубо романтических терминах и выражениях вроде «бремени белого человека» или «необходимости цивилизовать дикарей». Этот лексикон устарел именно тогда, когда набрал силу марксизм. Под влиянием марксизма такие явления, как мировое неравенство и мировая зависимость, были впервые описаны на языке политэкономии. Во времена холодной войны как советская, так и американская пропаганда говорили о противостоянии двух социально-политических «систем», а не «двух культур» или «двух цивилизаций». Это не случайно. Само существование политической альтернативы, пусть даже призрачной (советской), вынуждало использовать более или менее «приличный», сублимированный язык. Но после распада советского блока либеральный мейнстрим вновь возвращается к доктрине открытого, а не экономически замаскированного колониализма.

И вот уже на повестке дня проблема «противостояния цивилизаций», поставленная Самюэлем Хантингтоном. Этот терминологический поворот не был случайным. Он означал, что приличия наконец отброшены и концепция «глобального доминирования» делает шаг назад, во времена Британской Ост-Индской компании. Только политическую риторику времён империи, над которой никогда не заходит солнце, пришлось перевести на язык политических понятий XXI века. Эта стилистическая метаморфоза в политике стала одной из примет рубежа веков.

После вступления в силу нового языка можно было смело говорить об ужесточении и архаизации семантики либерального дискурса. Ведь отсюда уже полшага до идей культурной исключительности и биологического превосходства. Мировое социальное неравенство вновь оправдывается культур-расистскими доктринами, и замена понятия «культурная не-

полноценность» на «несоответствие демократическим стандартам» вряд ли способна обмануть. Эвфемизмы – продукт языка, а не политической реальности. При этом новые политические реалии выстраивались вровень с новым языком. Для свержения светских «диктаторов» на Ближнем Востоке (на самом деле умеренно авторитарных лидеров, вполне типичных для этого региона) были использованы самые дремучие, фундаменталистские силы. Так, за американские интересы против Башара Асада в Сирии воевала прежде враждебная американскому политикуму «Аль-Каида», а на Украине была сделана ставка на этническую войну и геноцид этнических русских, которые проводят потомки бандеровцев и УНА-УНСО.

Сравнение методов информационной войны коммунизма и неолиберализма также не в пользу последнего. Информационная диктатура опаснее прежнего идеологического диктата, инфократия опаснее идеократии. Она полностью снимает с себя ответственность за последствия своих действий и расхождение с реальностью. В отличие от коммунизма доктрина неолиберализма может себе позволить быть внутренне противоречивой. Например, апелляция к «общечеловеческим ценностям» как единой парадигме логически противоречит тезису о «плюрализме». Но кого интересует логика, если речь идёт о единственно верном учении, овладеть которым можно в крайне сжатые сроки, устанавливая нужный набор дефиниций в одном пакете с «актуальной информацией» по повестке дня.

Неолиберализм негласно сохраняет за собой право на внутренние противоречия, право на иммунитет против критики, право не «опускаться» до дискуссий – на том основании, что он якобы охватывает «всю полноту достижений человеческой мысли». Этот гностицизм во времена классического либерализма более или менее успешно вытеснялся за рамки теории: ограничителем служили остатки христианской морали. Сегодня он востребован. Отсюда и провозглашение «конца истории» Френсисом Фукуямой и его последователями.

Неудивительно, что неолиберальный политический универсализм имеет квазирелигиозный характер. Причём в форме императива: не «Верую, ибо абсурдно» [33, с. 1], а «Веруй, ибо абсурдно!» Иначе ты варвар и, по выражению Барака Обамы, стоишь «на неправильной стороне истории». Таким обра-

зом, неолиберализм использует квазирелигиозные основания и культур-расистские концепции, что в рамках доктрины марксизма-ленинизма было исключено. Такого рода культур-расистские установки нуждаются в легитимации и самооправдании, что возможно лишь при наличии бесспорного, непрерываемого основания. Для этого нужен «неполноценный» противник, на которого не распространяются принципы добра и зла. Недочеловек, *der Untermensch*.

Например, на Украине роль «унтерменшей» играют этнические русские Востока, которых американские ставленники в Киеве сравнивают с насекомыми («колорадами») и устами журналистов требуют уменьшить их «поголовье». Так, журналист Богдан Буткевич в прямом эфире украинского *hromadske.tv* открыто заявил: «Донбасс – это депрессивный регион. Там просто дикое количество ненужных людей. В Донецкой области примерно 4 млн человек, и не менее 1,5 млн там просто лишних людей... Я не знаю рецепта, как это сделать быстро, однако наиглавнейшее, что нужно сделать: есть люди, которых нужно просто убить». Ранее Юлия Тимошенко предлагала «расстрелять 8 млн русских из атомного оружия». Такие высказывания не только норма для украинских СМИ, они давно стали руководством к действию для украинской армии – разрушению жилых кварталов посредством бомбардировок и обстрелов из РСЗО. Но европейские и американские официальные лица полностью одобряют эту практику и даже благодарят украинские власти за «умеренное применение насилия» (Джен Псаки).

Почему это происходит?

Потребность в легитимации экспансионистских целей с неизбежностью приводит неолиберализм к конструированию вспомогательной доктрины абсолютного зла, которая автоматически избавляет от лишних моральных рефлексий. Эта апелляция к «абсолютному злу», «оси зла» и т. п. изначально неморальна, она чем-то сродни настроениям эпохи инквизиции и религиозных войн («бейте всех, Бог узнает своих»), но гораздо откровеннее. В основе такого понимания зла лежит не христианский, а неоязыческий взгляд. Вполне очевидно, что исторически данная матрица сознания присуща фашистским режимам; свидетельство тому легко найти на страницах гитлеровской «*Mein Kampf*» и небезызвестной брошю-

ры «Унтерменш». Вселенское зло призвано заслонить зло ежедневное, связанное с действиями конкретных людей, при этом его присутствие можно лишь постулировать, но не доказать. Это признак квазирелигиозного сознания, характерного для членов тоталитарных сект.

Таким образом, анализ современного неолиберального дискурса показывает, что у последнего куда больше общего с фашизмом нежели с коммунистической доктриной. И эта общность имеет глубинную связь, проходя через всю европейскую историю.

ЭТНИЧЕСКОЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ: ОПАСНОСТИ НЕОНАЦИЗМА

Российское общество переживает процесс болезненного прозрения. Оно ещё не знает, что ему делать с открывшимися в последние месяцы фактом: мы живём бок о бок с откровенно нацистским государством, чей идеологический вектор имеет резкую антироссийскую и антирусскую направленность. Заявления киевских политиков о том, что области с русским населением должны быть либо украинскими, либо безлюдными, а «кацапов надо расстреливать из атомного оружия» (запись телефонного разговора Юлии Тимошенко и Нестора Шуфрича), давно не являются только заявлениями. Они активно воплощаются в жизнь: с помощью обстрелов из «Градов», касетных бомб, расстрельных списков, закрытия коридоров для беженцев.

Как справедливо пишет политолог Дмитрий Бабич, «этот нацизм часто обходится без свастики и без прославляющих Гитлера салютов: современный украинский нацизм бывает прилизан и начитан, он любит щегольнуть цитатой из Черчилля, Гавела и даже Варлама Шаламова, в кармане у него часто имеется диплом европейского вуза с приглашениями на кучу конференций – варшавских, лондонских, берлинских. Этот нацизм бывает... интеллигентен и либерален. Нацизм либеральной выделки? Это кажется оксюморонам, но это так: современных украинских нацистов привели к власти западные и отечественные либералы» [26].

Говоря о восстании и ополченцах Юго-Востока, эксперты утверждают, что идёт война между фашистами и антифашистами. Это правда, но далеко не вся. В действительности мы наблюдаем начальную фазу этнической войны. Идёт зачистка территории. Очень немногие в России осознали, что конфликт Киева и Юго-Востока предполагает – как бы ни хотелось перестать об этом думать – конфликт между украинцами (в союзе с США) и русскими, а не только между фашистами

и антифашистами. Украинцы осознают этот факт гораздо лучше нас.

Можно возразить: а разве война с обеих сторон мотивирована одинаково? Разумеется, нет. Конечно, сущность русской и украинской идентичности различны. Русская идентичность никогда не была основана на этническом понимании нации. Она в значительной мере религиозна и идеократична. Идентичность украинская – исторически ситуативна. Это явление скорее искусственного порядка, вызванное к жизни политическими обстоятельствами XX века и потому имеющее один-единственный идейный фундамент: русофобию и отталкивание от «русской Европы», «русского проекта», то есть русского православного сегмента европейского мира. Но в течение многих веков Украина (а правильнее – Малороссия) была частью этого мира. Отделившись от этой материнской сущности, Украина обречена оставаться «обломком», частью без целого.

Вот почему происходящее не симметрично: с украинской стороны это война в том числе и за узкоэтническое понимание нации, с российской – за культурно-историческое, основанное на нравственных и религиозных ценностях. Правда, на информационном фронте этой войны проявляют активность все украинские церкви, включая даже Украинскую православную церковь Московского Патриархата (УПЦ МП). Но если мы внимательно посмотрим, то обнаружим, что украинские церкви, несмотря на предписанный им христианской традицией уранополитизм, заражены сегодня националистической идеологией, а многие члены этих церквей ничуть не уступают своим светским единомышленникам по части нацистских взглядов. Иными словами, на Украине происходит сужение религиозной темы до этнической [26]. В России – напротив, расширение этнической темы до религиозной и социокультурной. Это одна из причин пресловутого «конфликта менталитетов». А конфликт менталитетов означает конфликт идеологий. Даже в нашу совсем не идеологичную, а «информационную» эпоху.

Война украинцев с русскими (пока что в лице Новороссии), конечно, имеет мощное идеологическое измерение. Жители Новороссии не принимают псевдоевропейские ценности «майдана», то есть власть олигархии и среднего класса над на-

родом, не хотят выполнять роль экономических агнцев, отданных на заклятие МВФ. Но они не принимают также и насильственную украинизацию русских, к которой сводилась политика Киева на протяжении 23 лет. Просто сегодня они вошли в «горячую» фазу украинизации.

И тут возникает другой вопрос: а как связано одно с другим? Конфликт идеологий – это всё-таки конфликт экономических интересов или национальных чувств? Ведь между одним и другим фактором, на первый взгляд, огромная дистанция. На самом деле эта дистанция исчезающе мала, связь здесь самая прямая, и она не предполагает никакой мистики.

Связь национально-расового и социально-экономического факторов в нацизме лишь на первый взгляд может показаться случайной или необъяснимой. В действительности для мировой истории она скорее правило. Ведь угнетённые в процессе колонизации народы угнетались именно экономически. А вот право на такое угнетение всегда обосновывалось национальной, культурной или цивилизационной неполноценностью народа-жертвы и некой «исключительностью» государства-агрессора. Более того, угнетение нередко подавалось как своего рода «плата» за услуги высокоразвитой нации, якобы согласившейся «цивилизовать дикарей». Во времена Редьярда Киплинга это было принято считать «бременем белого человека». А сегодня украинские либералы, толкуя о подписании Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, говорят о «плате за экономический мастер-класс», имея в виду неизбежные в будущем катаклизмы: рост тарифов, остановку индустрии, девальвацию национальной валюты, скупку национальных активов иностранными компаниями (отец и сын Байдены здесь только первые ласточки) и, наконец, долговую яму Международного Валютного Фонда, из которой придётся выбираться будущим поколениям.

Но это если говорить об отношениях Украины и ЕС. В этой системе есть и третье звено – Юго-Восток. Агнцем для экономического заклятия после вступления в силу «европейских экономических стандартов» станет именно промышленность Востока Украины, что означает безработицу, падение уровня жизни, голодные семьи на территории нынешних ДНР и ЛНР, а также Харьковской области. Но обратим внимание на то, что киевские евроинтеграторы в лучших нацистских тради-

циях склонны объяснять столь блестящую перспективу «конфликтом менталитетов» (из заявлений украинского МИДа), особым статусом жителей Донецка и Луганска как «недолюдей» (определение украинского премьера Арсения Яценюка) и даже борьбой «советского» и «несоветского». Последнее уж совсем странно, учитывая народно-демократический месседж Новороссии и номенклатурно-олигархическую сущность украинского режима, характерную для СНГ в целом.

Словом, связь между экономикой и темой «культурного превосходства» на сегодняшней Украине видна как на ладони.

Как объяснить тот факт, что дежурных фраз о «территориальной целостности страны» киевским властям недостаточно, и их агитпроп настоятельно требует нацистских и культуррасистских мотивов? Можно утверждать, что эти мотивы призваны эмоционально усилить их шаткую аргументацию. Киеву не хватает «законных» оснований для удержания Юго-Востока. Но недостаток аргументов – не единственная причина использования нацистского дискурса. И даже бандеровские «традиции» – важный, но не решающий фактор, связывающий экономику и идеологию.

На самом деле такого рода связь не ситуативна, а глубинна. Она вытекает из самих законов развития либерального капитализма. Известный левый экономист и историк Иммануил Валлерстайн в своих работах всегда подчёркивал, что «существует корреляция между “классовым” и “этническим” ранжированием, с одной стороны, и наличием различных “классовых” и “этнических” групп определённых политических прав – с другой. Низшие группы... формируют “классово-этническую низшую страту»» [7, с. 34]. И далее: «Осевое разделение труда между ядром и периферией (мировой экономики – А. Ш.) имеет как классовое, так и этническое измерение, причём на мировом уровне, в отличие от национального, они меняются местами: очевидна прежде всего этническая иерархия. Отсталость Третьего мира часто объясняют в терминах культуры и образования...» [7, с. 35].

Характерно, что фазы процессов, протекающих в мировой экономике, влияют и на корректировку «расовых» границ. В терминах Валлерстайна это не что иное как «постоянная редифиниция этнических групп в капиталистической мировой системе в соответствии с потребностями последней. В

результате вчерашние “средиземноморцы” становятся сегодня европейцами, японцы (вчерашние лидеры “желтой орды”) – “почётными белыми”, и кто знает – быть может, сегодняшние шведы когда-нибудь опять станут “бледнолицыми варварами”. Этническая и расовая принадлежность в капиталистической мировой системе постоянно меняет свои статусные определения. В период спада и сжатия мировой экономики целые народы выталкиваются из неё как этнически неполноценные; в периоды роста и расширения (экспансии) часть их впускают назад» [3, с. 9]. В то же время «в условиях слабости государства периферийных обществ полюсом-знаменателем выражения классовых интересов или формирования солидарности статусных групп становится расовая, этническая (национальная) и языковая принадлежность, расово-этническое измерение социальных отношений в КМЭ (капиталистическая мир-экономика – А.Щ.) закрепляется институционально» [4, с. 745].

Именно этот процесс – институциональное закрепление авторитарной экономической модели в форме идеи расово-этнического превосходства – мы и наблюдаем на Украине. Нелишним будет напомнить, что и правители третьего рейха оформляли своё завоевание «жизненного пространства» как право повелевать «унтерменшами» – «расово неполноценными народами». Украина уверенно идёт именно этим, проторённым путём. Нет ничего экзотического и неожиданного в злокачественном перерождении украинской политики – перерождении, которое, напомним, началось не вчера, а два десятилетия назад. За ним последует культурная инкапсуляция и деградация украинского общества. От этого факта ни в коем случае нельзя отгораживаться, как это делает либеральная и патриотическая интеллигенция в России и либерально-патриотическая – на Украине. Но ему не следует и удивляться. Феномен украинского фашизма требует спокойного и холодного анализа.

НЕОФАШИЗМ КАК ПОНЯТИЕ: ИДЕЙНЫЕ ДИСКУССИИ И ГРАНИЦЫ СМЫСЛОВ

В связи с событиями на Украине мы наблюдаем возвращение фашизма в европейскую политику. Но с анализом ситуации и чётким пониманием фашизма как исторического явления пока есть серьёзные проблемы. Например, писатель Максим Кантор приводит шесть признаков фашизма [36]. Очевидно, что набор критериев непомерно велик и не столько облегчает, сколько затрудняет определение явления. Но попробуем рассмотреть шесть признаков фашизма, которые предлагает М. Кантор.

«Первый постулат фашизма – это национальная гордость». Однако в каких единицах измерять национальную гордость? Разве не является проявлением национальной гордости культ «старой доброй Англии», «сладкой Франции», неужели всё это ростки пещерного фашистского сознания? На самом деле речь здесь должна идти не о национальной гордости – это нормальное и здоровое чувство, – а о комплексе национального (расового, культурного, цивилизационного) превосходства, о позиции нации-господина, или цивилизатора других наций.

«Второй постулат фашизма – единение народа с государством». В этом тезисе игнорируется главный вопрос: какое это государство, с какой идеологией, экономикой, с какими социальными и политическими целями. Само по себе государство – нейтральное явление. Разговор об отношении к «государству вообще» моден в кругу увлекающихся либертарианством, но несколько беспредметен. Догматическое, априорное антигосударственничество – явление того же порядка, что и державное идолопоклонство, но с обратным знаком. В России, как показывает исторический опыт, эти явления порождают и поддерживают друг друга. Эта ситуация привела к отсутствию в стране реальной политики.

«Третий постулат фашизма – традиция. Апеллировать будут только к былому величию. Фашизм – это всегда ретроспективная программа». И вновь ничего общего с ре-

альностью. Наоборот, традиция (то есть культура и история) – это единственный серьёзный противовес «голосу крови». Традиция есть то, к чему человек может приобщиться по желанию, а этническая принадлежность дана ему с рождения. Следовательно, традиция – это выбор, свобода и ответственность. Традиция уравнивает людей. В ней нет логики исключения. Культурный и национал-расизм этой логикой живут (вот мы, а вот они, мы – соль земли, они – прирождённые холопы). Традиция пребывает в потоке истории и потому вовсе не привязывает нас к прошлому. Это не прошлое, а связь между прошлым и будущим, гарантия от исторических разрывов, консервант, сохраняющий коллективный опыт. Поэтому традиция не агрессивна, она не склонна завоёвывать себя или кого-то на стороне, она возвращает себе своё.

«Фашизм – это ретроимперия. Ничего нового фашизм не изобретает, пафос фашизма – в отмене прогресса». Ничего подобного. Наряду с «кровью» фашизм обожеествляет прогресс: достаточно вспомнить экономику «третьего рейха». Правда и традиция – не враг прогресса, а точка его опоры и гарантия гуманности.

«Четвёртый постулат фашизма – неравенство. Фашистские государства – это армии, неравенство им свойственно, но армейское неравенство фашизм получает уже готовым – от рынка. Само неравенство создал не фашизм. Неравенство уже было создано олигархией и рыночной демократией». Важнейший, если не единственный критерий. С этим пунктом не поспоришь, расставлены все точки над «i».

«Пятый постулат фашизма – его тотальность». Странный критерий. Либерализм также тотален, социализм имел претензию на тотальность. Религия тотальна, так что же?

«Шестой постулат фашизма – язычество». А вот это верно. Причём языческая сущность фашизма тесно связана с неравенством. Тем не менее сложно согласиться вот с таким тезисом: «Язычество не обязательно означает отмену отеческой религии, но это означает модификацию христианской религии, приспособление таковой под потребности почвенного сознания». На самом деле речь должна идти о модификации христианской религии под потребности глобального рынка. Пример такой модификации даёт нам радикальный протестантизм, в частности кальвинизм [8]. Почвенное сознание также

изначально имеет мало общего с христианским уранополитизмом, но в условиях глобализации ситуация несколько изменяется: почвенничество становится противовесом интересам финансового интернационала и, как следствие, консервантом традиции, в том числе христианской. Поэтому в отношении «почвенного сознания», как и в отношении государства, необходимо уточнение: о какой именно «почве», о какой традиции идёт речь.

Скатывание неолиберализма к прямой поддержке нацизма и фундаментализма – уже не теория, а очевидность. Максим Кантор когда-то признавал: «Именно либеральная демократия сегодняшней фашизм и подготовила... Фашизм прошлого века был побеждён союзом демократии, социализма, гуманистического искусства и религии. Все компоненты этой победы были сознательно уничтожены. Сегодня противопоставить фашизму нечего» [28].

Не замечать эту неутешительную логику исторического процесса невозможно. Но когда возникает вопрос о сущности и истоках фашизма, главное – не дать исказить историческую картину в интересах неолиберального истеблишмента.

Нередко для такого искажения используются концепции, опирающиеся на тезис о «вторичности» (и тем самым, меньшей виновности) фашизма по сравнению с коммунизмом. В рамках школы немецкого историка Э. Нольте и официальной установки на «нормализацию немецкой истории» в Германии принято считать, что гитлеровский режим – это реакция на сталинский режим, и поэтому Гитлера якобы нельзя считать агрессором. Факт перехода от политического противостояния к военным действиям (22.06.41) нередко не берётся в расчёт.

Впрочем, и сам предлог для перекладывания исторической вины с агрессора на жертву обычно ничтожен. Фашизм гораздо «старше» коммунизма, он родился намного раньше XIX века. Это хорошо изложено в известной книге Мануэля Саркисянца «Английские корни немецкого фашизма. От британской к австробаварской “расе господ”».

Как отмечает Саркисянец, «только в Англии расистская идеология вытекала непосредственно из национальной традиции: мало того, что последняя была ветхозаветно-пуританской – ситуацию усугубляло и восприятие социального неравен-

ства как части английского культурного наследия (низы испытывали благоговение и уважение к верхам, а верхи относились к ним с презрением)» [19, с. 95] (см. также: Thost, *Als Nationalsozialist in England* (München, 1939), S. 99; Thurlow, *Fascism in Britain* (London, 1982), p. 276; Hannah Arendt, *Elemente... totaler Herrschaft*, S. 288). И здесь же, ссылаясь на мнение Ханны Арендт, он утверждает, что сословное неравенство воспринималось почти как неотъемлемый признак английского национального характера. Именно «общественное неравенство было основой и характерным признаком специфически английского общества, так что представление о правах человека, пожалуй, нигде не вызывало большего раздражения», – констатирует Ханна Арендт [19, с. 95]

Впрочем, акцент следует делать не на английском национальном характере, а на условиях глобального капитализма и обслуживающей его либеральной идеологии – как раз тех явлениях, которые проявились в Англии как ведущей колониальной державе наиболее ярко. В этом случае проблема происхождения английских корней фашизма легко решается, не обрастая никакой мистикой, и в картине этого исторического явления всё встаёт на свои места. Да, именно ведущие европейские державы в эпоху становления капитализма можно считать родиной европейского фашизма. Но причина не в менталитете или национальном характере, а в развитии глобального денежного строя. Этот фактор, разумеется, влиял на формирование определённых черт национального характера.

Возникает вопрос: почему так сложилось, почему авторитарная сущность глобального капитализма гораздо глубже и радикальнее идеологического авторитаризма коммунистического типа? Для ответа на этот вопрос позволим себе привести длинную цитату из работы Бориса Кагарлицкого – она того стоит: «Принципиальным отличием капиталистического “рыночного” террора от террора “тоталитарного” является то, что последний осуществляется правительством, берущим на себя политическую и моральную ответственность. Напротив, террор рыночный осуществляется стихийно и на политическом уровне за него никто не отвечает. Вернее, ответственность распределяется между множеством конкретных злодеев, каждый из которых отвечает только за свою часть “работы”. С другой стороны, как заметил один из героев книги Сюзан

Джордж “Доклад Лугано”, рыночный террор эффективнее. Надзирателей концлагеря можно подкупить или разжалобить. Бюрократия бывает косной и медлительной. Только рынок решает проблему уничтожения людей со свойственной ему бескомпромиссной и неумолимой эффективностью. Подчиняясь логике стихийного процесса. И в конечном счёте, никто ни за что не отвечает. Заказчики террора, получатели прибылей, наследники капитала, созданного рабским трудом, остаются уважаемыми гражданами, чья репутация выше всяких подозрений. Миллионы жертв экономической эффективности остаются непризнанными, о них не вспоминают и за совершённые преступления никто не собирается приносить покаяние. А потому экономический холокост может повторяться снова и снова» [11, с. 36].

Важно не упускать из виду экономические корни любого холокоста.

ГЕНЕАЛОГИЯ И ТЕЛЕОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО НЕОНАЦИЗМА

Идеология фашизма сделалась популярна после уничтожения коммунистической доктрины – фашизм давно признали закономерной реакцией на коммунизм. Эта мысль довольно распространена в правых кругах, когда речь заходит о фашизме [11]. И это не случайно. Именно миф о мнимой «вторичности» фашизма переворачивает историческую «шахматную доску» (говоря словами Збигнева Бжезинского) на 180 градусов. Этот миф нуждается в системной и жёсткой критике. Не случайно именно он является наиболее охраняемым «редутом» либеральных историографов и социологов. Если мы собираемся вступать в битву за историю и выстраивать долгосрочную национальную политику, разговор в обществе на эту тему неизбежен.

Реальный фашизм гораздо старше ленинско-сталинского коммунизма по историческим меркам. Мы сейчас говорим не о чрезвычайной древности самих идей, как эгалитаристских, так и национал-языческих (что тоже важно), но об исторической конкретике. С исторической точки зрения фашизм отнюдь не является реакцией на коммунизм, но вытекает из условий и политико-экономических факторов либерального капитализма.

Именно поэтому определение фашизма, принадлежащее Ханне Арендт (с заменой на сомнительный «тоталитаризм» и не менее сомнительным расщеплением понятия «расизм»), далеко не лучшее. Оно явно уступает другому, автором которого является Георгий Димитров. Это определение, известное как «формула Димитрова», является классическим определением фашизма. В СССР оно считалось наиболее точным. «Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала... Фашизм – это не надклассовая власть и не власть мел-

кой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм – это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике – это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов» [9, с. 64-65].

Главное в этом определении – установление прямой связи между фашизмом как идеологией и властью финансового капитала. А из этой связки следует, что фашизм есть продолжение ультраправой неолиберальной идеологии – идеологии крупного капитала. В связи с этим становится понятно, почему левые социал-демократы и коммунисты всегда подчёркивали связь между фашизмом и капитализмом, а либеральная теория «тоталитаризма» эту связь принципиально отрицает. Всё дело в целевых идеологических установках. Одно дело антисистемная позиция. Другое – дозволенные либеральным консенсусом исторические медитации.

Затушевать проблему исторических корней фашизма помогает бинарная теория тоталитаризма. Историк и социолог Борис Кагарлицкий по этому поводу справедливо замечает: «Либеральные социологи постоянно подчёркивают системную, социально-экономическую логику в тоталитаризме “левого”, но почему-то столь же настойчиво и последовательно отрицают эту логику в случае тоталитаризма “правого”. Мол, при отсутствии частной собственности ГУЛАГ получается обязательно, а в условиях буржуазного экономического порядка Бухенвальд и Освенцим получились совершенно случайно, как исключение» [11, с. 34].

Убеждение в «случайности» Бухенвальда и Освенцима крайне сомнительно. Оно противоречит не только левому взгляду на проблему, но – де-факто – идёт вразрез с тем, что было сказано в европейской социологии, политологии и историографии довоенного периода. Многие, написанные в Европе и США до войны, плохо согласуются с бинарной теорией тоталитаризма и другими идеями, сформулированными после войны Ханной Арендт («Истоки тоталитаризма»), Карлом Поппером («Открытое общество и его враги»), Фридрихом Августом фон Хайеком («Дорога к рабству») и некоторыми другими авторами. Например, если мы возьмём определение

империализма в работах Ханны Арендт и наложим на него взгляды Макса Вебера, автора знаменитой «Протестантской этики и духа капитализма» [8], то получится, что последний является вдохновителем и апологетом империализма.

А ведь концепция Вебера излагает общие конституирующие признаки всей западной капиталистической цивилизации Нового времени. Если рассмотреть либеральный капитализм под таким углом, еврофашизм предстанет перед нами не случайным историческим вывихом и «системным сбоем» в западном обществе, а логичным и закономерным следствием развития экономики западного мира. Имея это в виду, Борис Кагарлицкий подчёркивает: «Можно отметить и другую сторону медали – экономическая рациональность немецких концлагерей (в отличие от многократно описанного иррационализма и абсурда лагерей советских) была как раз закономерным результатом рыночной экономики, частного предпринимательства и протестантской этики» [11, с. 35].

Исходя из сказанного, легко понять, какой из двух тоталитаризмов является реальным фашизмом и насколько он связан с буквой и духом либерально-капиталистической глобальной экономики и рыночного общества. Тогда придётся признать, что использование понятия «тоталитаризм» как общего знаменателя для понятий «коммунизм» и «фашизм» попросту некорректно.

Вообще чтобы понять, что произошло после 1940-х в области идеологии, достаточно попробовать применить теорию тоталитаризма ретроспективно. Вот только делать это европейская и американская политология сегодня категорически не рекомендует. Однако невозможно скрыть тот факт, что едва появившись в ранге родового понятия, понятие «фашизм» подверглось пересмотру и выхолащиванию в рамках теории тоталитаризма.

Что же такое фашизм?

Если не рассматривать понятие «фашизм» в узком значении (режим Муссолини), то это идея неполноценности той или иной группы, в отношении которой «закон не писан». Или превосходства какой-то группы, что логически одно и то же. «Неполноценность» может иметь разные маркеры: национальный, культурный (для оправдания колониальной экспансии), цивилизационный. Этот комплекс превосходства выступает

трансцендентным обоснованием биологического и социального неравенства людей. Денежный строй практикует этот подход в рамках мировой колониальной политики.

В любом случае фашизм направлен против той части идентичности, которую человек в себе не может изменить. То есть человеку не оставляют выбора. При обычном авторитарном (тоталитарном?) режиме выбор есть: или скорректировать свои взгляды в публичном пространстве, или стать жертвой режима. Отличие фашизма в том, что он не оставляет человеку даже этого «или». Именно поэтому отождествление коммунизма при всех его недостатках и преступлениях с фашизмом – грубейшая ошибка, и теория «двух тоталитаризмов» Ханны Арендт является в этом смысле абсолютно кощунственной. Дело в том, что фашизму, в отличие от коммунизма, человеческая личность не нужна даже как объект подчинения. Ему нужно, чтобы её просто не было. Это «лишняя» личность. Она или мешает ему, поскольку заселяет лакомую территорию, или является звеном в пищевой цепочке, материальным ресурсом, кормовой базой, «органикой» (при классическом колониализме). Отсюда и облетевшее интернет предложение фашиствующего журналиста Буткевича на «свидомом» украинском канале: убить 1,5 млн жителей Донбасса. Дело не в том, что они «неправильные», дело в том, что они лишние. В основе фашизма лежит логика исключения: есть люди и есть не-люди.

В германском варианте фашизма мы легко найдём точно такую же идею изменения этнического состава «восточных территорий», которая вылилась в геноцид евреев и восточных славян, в особенности русских (см гл. о «восточном вопросе» в «Mein Kampf» и брошюру «Der Untermensch» («Недочеловек») [24]. Когда сегодня рассуждают о фашизме, нередко уделяют слишком много внимания стилистике, внешним эффектам, некоей имперской помпезности, а не сути дела. Например, говоря о Гитлере, редко когда забудут упомянуть об Олимпиаде и фильме Лени Рифеншталь. Но как раз эта история – побочный эффект политики, не связанный с гитлеровским фашизмом. Это элементы имперского пиара, который был, есть и будет при любых режимах, фашистских и нефашистских. Олимпиада в Германии не добавила и не убила там нацизма. Дело не в ней, а в «Унтерменше», «восточном вопросе», антисемитизме, газовых камерах, евгенике и

«расовой чистоте». Но это либеральным критикам фашизма не очень интересно: они боятся узнать среди этих идей свои собственные.

Помимо имперской эстетики либеральные критики любят ссылаться на «культ силы», «подчинение личности коллективу, скреплённому “идеями”», на саму эту «идею» (читай: сверхидею). Всё это явления частично нейтральные, частично негативные. Но к фашизму они имеют либо косвенное отношение, либо вовсе никакого. Подчинение личности коллективу или части коллектива, скреплённого идеями, существует при любом режиме. На иных условиях коллектив просто не существует. Жёсткость («авторитарность») подчинения может быть разной. Но в случае с фашизмом дело не в самом подчинении или «идее», а в кастовости, то есть в изначальных статусных различиях разных частей общества (коллектива) по отношению к этой самой идее.

Без подчинения личности коллективу государство просто невозможно, а без сегрегации и градации (нацизма) возможно вполне. Собственно фашизм – это и есть градация «человеческого материала» по тем или иным признакам. Не классификация, а именно градация. Иногда дело доходит до отрицания существования той или иной этнической, культурной или социальной группы.

Вот яркий пример: разговор телевизионщика крымского «Нового канала» Олега Крючкова с главным редактором. Дело было в 2014 году до присоединения Крыма к России, Крым был еще украинским. «Мы снимаем митинг возле Верховного Совета, я пишу текст: “Крымские татары переиграли русских тактически и пришли на два часа раньше”. Отправляю в Киев. Приходит правка: “Крымские татары переиграли пророссийски настроенных украинцев”. Я говорю, мол, подождите, люди шли на митинг с плакатами на русском языке – они чётко позиционировали себя как русские, а главный редактор Максим Дыбенко мне отвечает, что на Украине не существует русских – русские живут в России. А на Украине есть только пророссийски настроенные украинцы. В России, говорю ему, живёт больше 200 национальностей, и всё это россияне. Мне ещё раз было сказано, что в Украине русских быть не может. На что я спросил, мол, если я по национальности русский, а не пророссийски настроенный украинец, живущий в Крыму,

то у меня нет национальности? Мне заявили: значит, нет. Интересно, говорю, почему же тогда, в отличие от русских, крымские татары могут быть на Украине? В ответ было сказано, что крымские татары – это идиома. Интересно, знают ли крымские татары, что их на Украине считают идиомой?» [35].

Ситуация сильнейшей культурной дискриминации здесь прослеживается довольно отчётливо. Русские в Крыму, как и в Донецке и Луганске, оказались «лишними людьми». Но в Донбассе заболевание перешло в следующую стадию и превратилось в геноцид.

В качестве побочного поэтического определения возможно следующее: фашизм – это простодушный (буквальный) либерализм. То есть либерализм, уже почти не прикрывающийся правом и доводящий свой основной принцип, принцип тотальной конкуренции, до логического конца. Причём среди прочего подобные сюжеты выявляют и фиктивность либерального права. В действительности право не предшествует политике, а постфактум оформляет реальный расклад сил и конфигурацию власти. А сценарий зависит от исторических обстоятельств.

Если говорить о фашизме как «простодушном» либерализме, то можно вспомнить историю известного философа Славоя Жижека, рассказанную им о своём друге-коммунисте, которого в социалистической Чехословакии посадили в тюрьму как инакомыслящего за слишком буквальное и искреннее исповедание коммунистических догматов. Партийным товарищам показалось, что над ними глумятся. Явлением примерно такого же порядка является либеральная «критика» фашизма.

Вот почему «Национальная гвардия» Украины служит возможностью трудоустройства для членов майданных «сотен». И не случайно «небесная сотня» имени нацистского штурмовика Хорста Весселя скопирована с политических реалий еврофашизма германского образца. Отсюда и понимание украинской элитой европеизма как теории цивилизационной исключительности, а войны на Востоке как «конфликта менталитетов» (термин украинского МИДа).

Майдан в Киеве хорош, майдан в Донецке – терроризм? Отсюда и оговорка бывшего премьера Арсения Яценюка, назвавшего жителей Донбасса и Луганска «недолюдьми».

Сегодня есть все основания для того, чтобы прибегнуть к «универсальной юрисдикции» с целью проведения нового Нюрнберга. В деятельности киевских властей есть все признаки нарушения Женевской конвенции 1959 г. «О защите гражданского населения» и Конвенции 1980 г.

На фоне этих преступлений крайне странно выглядят заявления Барака Обамы о том, что «Россия находится на неправильной стороне истории». По-видимому, знать, где «правильная сторона истории» – почётная прерогатива *Das Herrenvolk*, «расы господ». Этот политический провиденциализм возник на почве американского протестантского общества. Однако он ничем принципиально не отличается от восточного фундаментализма, от концепций радикального ислама. Просто этот западный «Талибан» до истории с Украиной был в России не так заметен. Теперь он как на ладони. В этом по идее и должен заключаться когнитивный тупик либерала: «демократические» США оказались куда жёстче и страшнее «авторитарного» Путина.

БИНАРНАЯ ТЕОРИЯ ТОТАЛИТАРИЗМА: ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНИМОСТИ

В послевоенные десятилетия термин «фашизм» претерпел ощутимую трансформацию. Связана она была с желанием растворить это понятие в другом, более общем и куда менее конкретном – «тоталитаризм». Какое-то время теория двух тоталитаризмов считалась популярной. Но сегодня это наследие эпохи холодной войны, созданное стараниями Ханны Арендт и Карла Поппера, явно устарело и должно быть пересмотрено.

Пересмотр стал неизбежным в тот момент, когда фашизм вновь возродился в Европе. Сомнительные теоретические конструкции уже сегодня вытеснены бьющей в глаза очевидностью: неофашизм – это реальная угроза, «тоталитаризм» – лишь термин, который уже практически ничего не обозначает.

Когда теория двух тоталитаризмов (фашизм и коммунизм; в левых кругах эту теорию называли «бинарной») появилась на свет, она была возведена в ранг политического эталона. Степень популяризации этой доктрины оказалась чрезвычайной. Ей посвящались даже выставки актуального искусства вроде нашумевшей «Берлин – Москва». У теории есть главный автор – Ханна Арендт. Своеобразным дополнением к тезисам Арендт выглядят взгляды философа Карла Поппера, поделившего человеческие общества на два типа: «открытые» и «закрытые» (речь шла о культуре политических отношений, при этом не учитывалось место страны в мировой экономической системе) и в своём исследовании гитлеризма обратившегося к учению Платона – по мнению Поппера, «первого политического идеолога, мыслившего в терминах классов и придумавшего концентрационные лагеря» [18, с. 1].

В своей работе «Истоки тоталитаризма» (1951) Ханна Арендт писала: «На сегодня нам известны только две аутентичные формы тоталитарного государства: диктатура национал-социализма после 1938 г. и диктатура большевизма после 1930 г. Эти формы государств существенно отличаются

ся от всякого рода диктаторского, деспотического или тиранического правления, и хотя они и явились результатом непрерывного развития партийных диктатур, их сущностно тоталитарные качества новы и не выводимы из однопартийных диктатур» [6, с. 545].

Характерна попытка Арендт провести черту между тоталитаризмом и «просто деспотиями», «просто диктатурами». Правда, ссылка лишь на то, что «сущностно тоталитарные качества новы и не выводимы» из прежних видов властных практик вызывает много вопросов. Это больше напоминает язык теософии, нежели речь историка. Впрочем, Арендт, как известно, и не была профессиональным историком.

Тоталитарная идеология, по мнению Арендт, отличается от других тем, что ставит во главу угла единственную теорию (будь то теория национального начала или классовой борьбы) и из этой теории выводит все общественные дисциплины: философию, политику, историю, политику и даже теологию. Универсализм в политике можно оценивать по-разному, но возник он как минимум в Средние века (это если оставлять за скобками Античность). И в дальнейшем встречался многократно в самых разных видах. Разве не универсальна, например, либеральная теория естественных прав? Или неофрейдизм? Или любой религиозный фундаментализм? В таком случае «тотальность» (универсальность) теории вряд ли может служить критерием её злокачественной сущности. Здесь явно упущен или подменён какой-то другой, более важный критерий.

Арендт подчёркивает: «То, что расизм является главным идеологическим оружием империализма, настолько очевидно, что многие учёные, как бы боясь вступить на путь провозглашения банальных истин, предпочитают ложно трактовать расизм как своего рода преувеличенный национализм. Вне поля зрения обычно оказываются ценные работы учёных, особенно французских, доказывающих совершенно особую природу расизма и его тенденцию к разрушению национального политического тела» [6, с. 232].

Иными словами, спорить напрямую с тем, что расизм есть неизбежный атрибут либерального капитализма, Арендт не решается. Но вместе с тем понятие расизм (как и фашизм) у неё заменяется более общим – «тоталитаризм». А затем на осно-

вании тех самых «новых сущностно тоталитарных качеств» (новых как по отношению к уже упомянутым «деспотиям-диктатурам», так и, по-видимому, к колониальному расизму) она выделяет два тоталитаризма как особое политическое явление. И уже это явление никак не связано с либерально-капиталистическими корнями европейского расизма. Так при помощи логических манипуляций тоталитаризм превращается в какой-то внеисторический феномен, который появился как чёртик из табакерки.

Возникает естественный вопрос. Зачем, имея в своём распоряжении понятия «коммунизм» и «фашизм» (причём любое из них может и должно быть предметом моральных оценок), вводить третье понятие, занимающее метапозицию по отношению к двум первым и нивелирующее их видовые признаки? Вероятно, затем, чтобы уйти от исторической конкретики.

Не менее интересна судьба понятия «расизм» у Арендт, учитывая, что расизм есть не что иное как синоним фашизма. Вначале Арендт признаёт главное: «Расизм отрицает равенство людей, ранее вытекавшее из иудео-христианского осознания человека как “образа и подобия Бога” [Бытие 1:26]» [6, с. 546]. Но затем проводит удивительную типологизацию. Расизм (читай: фашизм) у Арендт делится на два типа – расизм превосходства и расизм зависти. Расизм «превосходства»... идеологически оправдывался заботой о «низшей расе» (тем самым «бременем белого человека»). А вот «расизм зависти», согласно Арендт, объединяет... народы Центральной и Восточной Европы, в частности, Россию и Германию и опирается не на конкретный опыт, как расизм «превосходства», а лишь на теории превосходства.

Под конкретным опытом, вероятно, следует понимать отсутствие вековой практики колонизации. Но ведь и в самом начале колониальной эпохи расизм уже был расизмом. Поэтому совершенно очевидно, что так называемый «германский тоталитаризм» – это всего лишь классический западный колониальный расизм. Правда, несколько задержавшийся (по причине раздробленности германских земель) и потому опоздавший к разделу колоний. Именно по причине этого исторического опоздания Гитлер был вынужден перенести колониальные практики с окраин мира (где они воспринимались как нечто естественное) внутрь Европы, где те же самые методы вызы-

вали шок. Вот и вся загадка ужасов «тоталитаризма». Весь секрет – в эффекте самоприменимости.

Что касается России, тут Арендт просто смешивает идею объединения славян, – довольно спорную, но не имевшую ничего общего с угнетением и колонизацией. Арендт совершенно не учитывает того факта, что Россия, будучи полупериферийным государством в мировой экономической и политической системе, являлась одновременно империей (по отношению к восточным и южным территориям) и колонией западных экономических элит, то есть одновременно и колонизатором, и жертвой колонизации. Говоря о России, необходимо рассматривать два противоположных процесса одновременно.

Но Арендт этого не делает. Желая как-то объяснить явную нерентабельность и невыгоду второго типа «расизма», она пишет: «"Расизм зависти" сулил не материальную выгоду плантатора от его чёрных рабов или метрополии от её колонии, но моральную выгоду полного превосходства, всепонимания и прикосновенности ко всем делам человеческим» [6, с. 92] .

То есть превосходство «обычного» расизма – не полное? А какое отношение к методам колонизации имеют «всепонимание и прикосновенность»? Читая Арендт, приходишь вопреки желанию автора, к обратному выводу: в идеократическом государстве без национальной идеи, каким был СССР или (в силу своей многонациональности) Австро-Венгрия, колониализм в обычном смысле невозможен, поскольку невозможен расизм. Австро-Венгрия в силу этой своей особенности, сразу распалась. СССР какое-то время скреплял своё многонациональное «лоскутное одеяло» идеей социализма и равенства. А вот куда более авторитарная Турция, поставившая целью переплавить свою многонациональную пестроту в единый «анатолийский» формат, здравствует по сей день. Но таких выводов Арендт не сделала.

Конечно, следует сказать несколько слов об авторской методологии, если это можно так назвать. Любопытно, что Арендт привлекает в качестве аргументов не экономические, а психологические понятия, пытаясь сделать их частью политических. Арендт описывает национальные задачи и интересы в терминах психологических установок. Деление наций на «высокомерные» и «завистливые» вызывает много вопросов

и, вполне возможно, само по себе содержит зерно культур-расизма.

Подводя итоги, следует сказать: на примере России и Германии видно, что концепция двух тоталитаризмов Ханны Арендт, как и концепция двух расизмов, работает плохо. Они явно избыточны по отношению к реальным историческим явлениям. По-видимому, продиктованы эти концепции идеологией холодной войны, что для 1951-го (год написания «Истоков тоталитаризма») и даже для 1981 года скорее естественно. Но совершенно непонятно, почему концепция двух тоталитаризмов на полном серьёзе воспроизводится последователями Арендт сегодня.

Конечно, двигаясь по пути теоретических натяжек, мы можем ставить вопрос о трёх тоталитаризмах – системе, в которой глобальный либерализм является порождающей матрицей, нацизм – её идейным центром, а коммунизм – искусственной альтернативой, подчинённой материнскому целому. Но такое усложнение и перегруженность теоретической конструкции свидетельствуют лишь о её слабых объяснительных возможностях. Концепция, которой требуются дополнительные теоретические подпорки, неэффективна и поэтому не нужна.

Сегодня наблюдается значительное расхождение в понимании идеологических соответствий между либерализмом, фашизмом и коммунизмом. Первые два неизмеримо ближе друг другу и гораздо теснее связаны. Если коммунизм – это карманная «альтернатива» либерализму, то нацизм – это важнейшая составная часть и глубинное основание самой либеральной доктрины. У либерализма и фашизма общее моральное основание: война всех против всех, тотальная конкуренция. Перенос этого принципа из экономической плоскости в культурную, этническую, социальную и обратно в экономическую в сущности ничего не меняет. Вот почему неолиберальный истеблишмент стремится привести к единому рыночному знаменателю такие общественные институты, как религия, семья, отношения полов (отсюда принудительная секуляризация, ювенальные технологии и узаконивание однополых браков). Вполне тоталитарная практика.

В России морально устаревшая и в значительной мере паранаучная теория двух тоталитаризмов до сих пор имеет своих

приверженцев в среде либеральной интеллигенции. В среде, которая сама себя склонна считать интеллектуальным классом. Правда, «интеллектуализм» никогда не мешал этой социальной группе проявлять интерес к околонучным концепциям, например, за авторством Елены Блаватской или Рона Хаббарда.

Начав всерьёз анализировать регресс политического сознания в XX веке, мы будем вынуждены отойти от понятия «тоталитаризм» и вновь заняться проблемой фашизма – куда более точного понятия, описывающего исторические явления как прошлого, так и, к сожалению, настоящего.

ДИСКУРС ПОЛИТИКИ И РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

«Триумф информации означает смерть политики». Эту фразу Пьера Бурдьё сделали крылатой политологи и журналисты. При этом нередко упускается из виду, что это высказывание левого философа не просто афоризм – оно характеризует всю современную эпоху. Эпистемологический конфликт, обозначенный Бурдьё, – это в сущности старая проблема соотношения «слов» и «вещей», поставленная Мишелем Фуко, но доведённая до своего логического конца, когда речь идёт уже не о типах и степенях соответствия, а о ситуации полного разрыва.

Почему возник разрыв?

Не секрет, что в информационном обществе история идей наиболее явно прослеживается в истории слов. Самый показательный пример – феномен политкорректности, корни которого уходят в 1960-70-е. Всё началось с того, что несколько авторов французской газеты «Либерасьон» (в частности, Серж Жюли, Андре Глюксман и другие), считавшихся учениками Жан-Поля Сартра, придумали, как снизить уровень ксенофобии в обществе. Для снятия напряжённости и примирения разных социальных, религиозных и национальных групп, по их мнению, достаточно было заменить «язык вражды» (hate language) на язык политической корректности. И тогда противоречия как бы уйдут сами собой. В условиях возрастающего социального напряжения в изменениях нуждалась сама социальная реальность, но вместо этого возникла практика манипулирования знаниями о ней. Разумеется, противоречия при этом никуда не исчезли. Изменилось лишь одно: аудитория утратила способность анализировать и доискиваться до причин социальных процессов. Вместо этого её приучили «заговаривать» социальную реальность – перепрограммировать, «перезагружать», «переозначивать» и проводить иные информационные манипуляции.

Так наряду с широко известной философией языка возникла политическая лингвистика. Принцип «язык против реальности» быстро стал общепринятым. Методы лингвистического программирования общественно-политических процессов применялись всё более уверенно и широко. Вот и сегодня руководство канала CNN «выдаёт своим журналистам словарики запрещённых слов и проводит ежедневные пятиминутки по “опасным темам”. Опасным признаётся всё, что касается упоминаний национальности, расы, религии, классовой принадлежности, имущественной состоятельности, непрестижной работы, пола, сексуальной ориентации или здоровья» [22, с. 32].

Но в основе описываемой нами политической кухни лежало не только полное табуирование нежелательных понятий. Во многих случаях происходила подмена неудобного понятия другим – удобным. И меняющим смысловые акценты.

Сегодня эта практика жива как никогда. Возьмём для примера понятие «модернизация», на которое возник спрос после распада социалистического лагеря. Этот термин был адресован странам бывшего советского блока и приглашал их занять место в мировом разделении труда, будучи по сути мягким и политкорректным синонимом колониальной зависимости. Зато название было выбрано весомое, почти как «перестройка и ускорение» в эру Михаила Горбачёва. Понятие «модернизация» широко используется в России и сегодня. Особенно много внимания уделяют ему экономисты. При этом речь идёт о финансовой зависимости страны от мировых рынков капитала и внешних кредитов – на фоне их регулярного субсидирования через Резервный фонд. А также – шире – о сохранении невыгодного места России в мировом разделении труда.

События 1989–1991 гг. обогатили новейший словарь либерального политика. В активный запас политического языка помимо «модернизации» вводится целая обойма новых понятий и концептов, ранее не столь актуальных. Ещё одно расхожее выражение – «конец истории». Оно стало популярным благодаря философу, политологу и политическому экономисту Френсису Фукуяме и его книге «Конец истории и последний человек» [1]. Выражение содержало в себе недвусмысленный месседж, весьма радикальный по содержанию. Это было не просто подведение черты под «двуполярной»

эпохой и так называемой модой на марксизм. Речь шла о том, что мировой политике вообще следует отказаться от историзма и очистить от исторических смыслов политический язык. Отказаться – в пользу чего? В пользу новой политической метафизики, в центре которой оказалось понятие общемирового либерального консенсуса. Такова политико-лингвистическая реальность. Ну, а как же реальная политика? Разумеется, идея оказалась утопической. «Консенсус» не сложился. Часть мира, не входившая в среду обитания «золотого миллиарда», не приняла новые порядки – ужесточение экономической политики, курс на вестернизацию. Кое-где возникли попытки занять позицию отрицания – вспомним саддамовский Ирак. Тогда, судя по всему, сторонники политико-лингвистического консенсуса решили, что время лингвистики прошло, и пришёл черёд полицейских мер.

Эти меры подробно описаны политологами и военными аналитиками. Нас же интересует лингвополитика сама по себе: нам важно понять, как ужесточение мирового политического курса – «закручивание гаек» в мировой политике – вызывает смену ключевых понятий политического языка. Одним из таких знаковых моментов перехода следует считать ситуацию, когда на место фукуямовской идеи «конца истории» приходит концепция «конфликта цивилизаций». Этим понятием мы обязаны американскому социологу и политологу Сэмюэлю Хантингтону [2]. Такая замена или подмена терминов указывала на готовность мировых элит к войне между Севером и Югом. Именно с этой целью провозглашалась кардинальная смена политического языка. Наряду с терминами глобальной экономики в мировой обиход возвращался язык культурно-цивилизационных различий. В том, что это именно возврат к прошлому или, точнее, его ремейк, нет никаких сомнений. И неважно, кто провозгласил этот путь первым, – профессор Хантингтон или иранские аятоллы, исповедовавшие зеркальную идею джихада, борьбы с неверными. Хотя кто здесь агрессор, а кто жертва, можно понять исходя из разницы весовых категорий двух конфликтующих субъектов.

В 1990-е методы лингвистического программирования общественных процессов применялись очень широко. В числе прочего они служили оправданию военной агрессии США в странах третьего мира и Европе. Военные акции в Ираке,

Югославии просто переименовали в «гуманитарные бомбардировки» и «операции по принуждению к миру».

Эта практика развивалась по нарастающей. Проамериканское киевское правительство никак не решается назвать события на Юго-Востоке простым и понятным словом – «война». Погибших – погибшими, а не дезертирами. Сторонников самоопределения – инакомыслящими, а не сепаратистами. Так рождается информационный миф, который заслоняет и поглощает собственно политику.

Ситуация крайне тревожная, но по-своему закономерная. Ведь лингвистический политикум с самого начала предполагал, что общество должно согласиться на новую форму социальной жизни – коллективный солипсизм. Это необходимое условие «безболезненного», хотя и далеко не бескровного отрыва информационной картинки от реальности. В сущности, данный подход ничем не отличается от принципов философа Беркли, создателя доктрины солипсизма («существовать – значит быть воспринимаемым», «физические объекты суть комплексы идей» и т. п.).

Об истоках общественного солипсизма очень точно написал известный философ Андрей Ашкеров: «Если Старый Свет рассматривал утопии – в строгом соответствии с этимологией – как места, “которых нет”, то Соединённые Штаты сразу связали утопию с самими собой, то есть обозначили себя как место, где происходит небывалое... Псаки – индивидуальное воплощение подобного солипсизма. И хотя на её месте мог быть кто-либо другой, невыдающиеся качества “уполномоченных по американскому солипсизму” указывают на то, что носитель не так уж и важен. Важна сама солипсистская установка, превратившаяся в политическую программу. Чем рутиннее распорядок американского “образа жизни”, тем сильнее ощущение американца о том, что ему дано присутствовать при своеобразном “сотворении мира”. Последнее, в свою очередь, оказывается чем-то средним между лабораторным экспериментом и прямым исполнением воли бога. Американская нация берёт на себя одновременно миссию коллективного помазанника и коллективного естествоиспытателя, превратившего в предмет своих изысканий не первую, а вторую натуру – политику» [25]. Единственное дополнение к сказанному: эту характеристику сегодня можно уверенно отнести не только к

американской, но и ко всей западной политической культуре. Ведь в интеллектуальном смысле США для остального Запада то же самое, что Запад для всего остального мира.

К сожалению, на принципе коллективного солипсизма сегодня основано функционирование современной медиасферы, политтехнологии, международной политики. Яркий пример 2014 года – история с малайзийским «Боингом», сбитым над Украиной. Честному расследованию из всех сил препятствует украинское правительство. Вместо выводов экспертизы украинские и американские ведомства угощают общественность голословными выводами и фотографиями с «дырками в земле» неясного происхождения.

Но едва ли не самым значимым в контексте украинских событий является история понятия «фашизм». В последние десятилетия оно претерпело весьма ощутимые трансформации. Вначале узковидовой термин (в значении «режим Муссолини») был расширен до родового и синонимически отождествлён с понятием «нацизм». Затем стараниями Ханны Арендт, Карла Поппера и их последователей была сделана попытка растворить понятие «фашизм» в другом, более общем и менее конкретном понятии – «тоталитаризм». Такая перестановка терминов позволяла вытеснить из истории XX века тему «немецкой вины» (а по совместительству всех стран фашистского блока). А тему Второй мировой в этом случае можно было лишить морально-оценочных критериев, убрав из неё ключевые понятия «агрессора», «жертвы», «геноцида» и «этнической войны». Таким образом, при помощи политической лингвистики создавалась почва для пересмотра итогов Второй мировой войны. Сначала на терминологическом, а затем на моральном, социальном и политическом уровнях. И это как нельзя лучше соответствует взятому в настоящее время в Германии полуофициальному курсу на «нормализацию истории», то есть отказа от признания своей вины за начало войны с СССР.

Интересно, что наряду с вытеснением одного понятия другим («фашизма» – «тоталитаризмом») само слово «фашизм» стремительно теряло чёткие смысловые очертания. Сегодня оно практически оторвано от чётких социально-политических дефиниций и является синонимом абсолютного зла, «всего самого плохого». На первый взгляд, это естественно. Но если

слово теряет смысловые границы, оно перестаёт указывать на конкретные явления, превращается в феномен лингвополитики. То есть становится бесполезным.

Вплоть до начала украинских событий 2013–2014 гг. слово «фашизм» играло роль квазирелигиозного термина, эдакого секулярного проклятия, раздаваемого кем попало и кому попало. Оно почти перешло в разряд перформативных высказываний (вроде «спасибо», «извините», «пошёл вон»), которые, по мысли основателя теории речевых актов Дж. Остина, «не описывают какие-то события, а в отличие от констативных высказываний уже сами являются действиями. Произнести перформативное высказывание означает совершить тем самым соответствующие действия, например, приказать, пообещать, присвоить имя» [32]. Всё дело в том, что на такие высказывания не распространяется требование верификации, каждое из них само себе референт. А потому слово «фашист» перестало быть определением и социальным диагнозом, но стало назначающим жестом, способом оскорбить оппонента. На голословное обвинение в фашизме уже недостаточно ответить «я не фашист», потребовать обоснований и (или) извинений. Единственный способ откреститься от фашизма сегодня – назвать фашистом кого-то другого, скорее всего, того, кто назвал тебя. При этом смысл понятия полностью элиминируется.

Плохо, когда в качестве перформативного начинают использовать понятие, для этого не предназначенное. Поскольку предмет, им обозначаемый, остаётся без имени и выходит из-под социального контроля, оказываясь за пределами системных отношений языка и общества. Происходит вытеснение политической реальности. А исход этой ситуации прост и печален. Реальный фашизм не отслеживается и не распознаётся в обществе в качестве такового.

И это одна из причин, по которой оказались возможны украинские события. К сожалению, в ходе этих событий мы наблюдаем откровенное и неприкрытое возрождение неонацизма на базе бандеровской идеологии, причём здоровая общественная реакция на эти процессы трагически запаздывает. Причины этого процесса не только экономические и геополитические. Одна из причин – разрушение общественного иммунитета, которое стало возможным благодаря насильственно-

му превращению фашизма из политического в лингвополитический феномен. А в итоге общество не успело среагировать. Эпистемологический разрыв между политикой и лингвополитикой сделал его беззащитным перед реальными политическими вызовами.

К счастью, Пьер Бурдьё не дожил до окончательного воплощения своего пророчества. Но общество сегодня очень хорошо осведомлено о том, что происходит, когда «триумф» информации убивает политическое сознание масс. Сон политического разума рождает политических чудовищ. Призыв «Назад, к реальности!» сейчас уместен как никогда.

ТРАДИЦИЯ В ПОЛИТИКЕ: ТЕОРИЯ И АКСИОЛОГИЯ

В условиях общественного кризиса традиция выступает не только в знакомых нам по школьным учебникам антикварных формах, но и как динамическая связь между прошлым и будущим. Срабатывает механизм самосохранения западного общества – христианской и постхристианской цивилизации. В связи с этим традиция всё чаще становится базисом социальных новаций.

Попросту говоря, для выживания и развития обществу необходим новый моральный консенсус. Как следствие, в общественной жизни повышается роль именно тех аспектов традиции, которые включают в себя элемент этической рефлексии. А эта особенность характерна для многих традиционных и особенно монотеистических религий – апостольского христианства, классического ислама и т. д. Но также и для социалистических и социал-демократических концепций – в той мере, в какой последние всё ещё востребованы историей.

В апостольском христианстве, например, евангельское «моральное сознание» получает дальнейшее развитие и самораскрывается в святоотеческом наследии. Аналогичный механизм есть в исламе и других религиозных системах. Но характерно, что и так называемый «советский опыт» не смог избежать структурирования по аналогичной, традиционной модели. Советская, как, впрочем, и западная версия социализма, и прежде всего марксизма, предполагала наличие предтеч, первичных носителей знания и своего рода «апостолов» (первого и последующего «призывов»). В ней существовали «канонические» и «неканонические» интерпретации. В этом контексте примечательна мысль известного философа Бертрана Рассела: «Яхве – Диалектический материализм. Мессия – Маркс. Избранный народ – Пролетариат. Церковь – Коммунистическая партия. Второе Пришествие – Революция. Ад – Наказание для капиталистов. Тысячелетнее царство

Христа – Коммунистическое общество. Отметим, что термины слева дают эмоциональное содержание терминов справа, и именно это эмоциональное содержание, знакомое воспитанным в христианских или еврейских традициях, делает эсхатологию Маркса заслуживающей внимания» [30].

Именно при таком интегрирующем взгляде и подходе традиция способна удовлетворить запрос на новый моральный консенсус.

Следует признать, что сегодня в силу определённой инерции объектом наибольшего внимания по старинке остаётся наследие европейских «новых правых» и – шире – «правый» взгляд на традицию. Условно говоря, это линия Р. Генона, Ю. Эволы, А. де Бенуа, Г. Фая, М. Седжвика и других теоретиков. Она предполагает взгляд на традицию с доминированием именно этнокультурного аспекта.

Обобщив идеи Рене Генона, одного из главных столпов правого традиционализма, можно довольно точно определить его мировоззренческие основания. Эта работа проделана, в частности, в кандидатской диссертации А. И. Макарова [13]. Уже из названия работы следует, что правый традиционализм склонен понимать традицию как статическое, а не динамическое целое, стремится изъять традицию из потока истории, противопоставить исторические изменения неким неизменным архетипам.

Примечательно, что даже вне пределов ценностно-этического ракурса правый традиционализм сразу обнаруживает сходство с либеральным стилем мышления. Тот в свою очередь стремится разделить различные социальные факторы, противопоставить «традицию» и «модернизацию», «прошлое» и «современность», оторвать их друг от друга. Тогда как «левый» взгляд на традицию исходит из обратной, диалектической установки: проследить историю как часть традиции и традицию как часть истории (принцип холизма). Интересно, что такой подход демонстрировали в своих традициологических исследованиях уже некоторые советские исследователи, в частности Э. С. Маркарян [14]. Но обратимся к правому взгляду на традицию в том виде, в котором он изложен у Рене Генона. Согласно А. И. Макарову, «в трудах Р. Генона можно выделить следующие трактовки традиционализма: 1) традиционализм как простая психологическая склонность к сохра-

нению статус-кво (“standpartism”, “traditionism”, “flexibility”); 2) традиционализм как особенность архаического мифологического сознания, связанная с попытками традиционных обществ противодействовать любым изменениям в какой бы то ни было сфере системы жизнеобеспечения (“дорефлексивный традиционализм”, “примитивный традиционализм”, “наивный консерватизм”, “интегральный традиционализм”); 3) традиционализм как идеологическое течение, которое формируется в результате противостояния анти- и атрадиционализму, в которой традиция не отождествляется с наследием, а подвергается сепарации в целях “создания” идеологически “чистой” традиции (“рефлексивный традиционализм”, “идеологический традиционализм”)) [12, с. 35].

В рамках геновского правого традиционализма рассуждает и российский философ Александр Дугин – он прямо относит себя к последователям Генона и рассматривает традиционализм как «антитезу языку современности», находящуюся тем не менее в рамках этого языка. По мнению А. Дугина, находясь в рамках Традиции, исследователь пребывает вне традиционализма и наоборот [10, с. 37]. Несмотря на ряд достаточно тонких наблюдений, дугинская трактовка традиции, явно претендующая на универсальность, вызывает серьёзные возражения. За пределами рассмотрения А. Дугина остаётся главное – частичность, локальность «современного традиционализма» как традиционализма либерального. Консерватизм Александра Дугина, всячески им декларируемый, проявляется в элементарной антитезе: прошлое (Традиция) маркировано им положительно по сравнению с современностью. Но сама модель традиции, тем не менее, едва ли не идентична либеральной. Разница заключается лишь в перемене знака. Назовём этот традициологический феномен «моделью разрыва».

Дело в том, что такая модель априори предполагает разрыв между историей, историческим мышлением (с одной стороны) и традицией как набором неподвижных архетипов (с другой). Но неправильно, с нашей точки зрения, противопоставлять «современность» (по Дугину – традиционализм) и «прошлое» (Традицию). Такая ось различения – это, вне всякого сомнения, продукт именно либеральной гуманитарной сферы.

Нужно понимать, что коллективные представления о прошлом и будущем и само восприятие «современности» сегодня

ня претерпевают серьёзные изменения. Поэтому необходимо выйти за рамки прежней модели. Сегодня различие между традицией и современностью, во-первых, всё более условно. Во-вторых, проводить его целесообразно по иной оси – ценностно-исторической. В рамках ценностно-исторической (трансисторической) модели традиции необходимо сопоставить между собой два понимания традиции и два вида традиционализма: этнокультурный, метафизический, внеисторический традиционализм правого толка, по привычке разрывающий традицию и историю, прошлое и современность, – и социокультурный, диалектический, трансисторический традиционализм левого толка. Вот почему понятие трансисторизма должно в будущем сопровождать любые исследования в рамках традициологии.

Интересно сравнить правый взгляд на традицию с видением традиции левыми теоретиками. Один из наиболее влиятельных на сегодня левых теоретиков, историк и экономист Иммануил Валлерстайн, подвергает критике миф о том, что научную культуру исторического капитализма «творили благородные рыцари в борьбе с упорным решительным сопротивлением сил “традиционной” ненаучной культуры» («Галилей против церкви», «модернизатор против муллы», «предприниматель против лендлорда»). Валлерстайн указывает на то, что этот культурный мем несёт в себе «скрытую предпосылку, связанную с темпоральностью. Предполагалось, что “современность” (modernity) во временном отношении нова, тогда как “традиция” – стара и предшествует Современности... Эта предпосылка исторически ложна, а следовательно, вводит в полное заблуждение. Многочисленные культуры, многочисленные “традиции”, процветавшие во временно-пространственных рамках исторического капитализма, были не более изначальными (preordial) или архаичными, чем многочисленные институциональные структуры. Главным образом они суть порождения современного мира, часть возведённых им идеологических лесов» [7, с. 117-118].

Как легко заметить, по мнению Валлерстайна, в изучении традиции надо учитывать трансисторические связи. И не только в интересах «чистой науки», но и потому, что трансисторический взгляд на традицию «играет важную роль в сплочении групп в их политико-экономической борьбе в условиях исто-

рического капитализма». Поэтому культурные формы традиции «мы не должны воспринимать как нечто данное...» [7, с. 118].

Отметим две важные мысли Валлерстайна. Во-первых, он фактически призывает отказаться от либеральной («современной») трактовки традиции, то есть выйти за рамки музейного отношения к прошлому. Во-вторых, он хотел бы рассматривать традицию не в отрыве от истории, а внутри истории, – в трансисторическом ключе. Характерно, что заявляет обо всем этом именно левый теоретик. И выступает он с позиций защиты традиции, относясь к ней гораздо бережнее и куда более трезво, чем последователи либеральных стереотипов. Последние постоянно впадают в одну из двух крайностей: либо в воинствующий антитрадиционализм, что ведёт к отрицанию традиционных ценностей с позиций сакрального отношения к modernity, либо в апологетику пещерного, трайбалистского традиционализма – это не менее радикальный, но палеоконсервативный взгляд.

Но трезвое отношение к традиции, условно говоря, должно лежать посредине. Впрочем, эта середина должна быть понята не чисто арифметически, а диалектически – в духе взаимопроникновения традиции и современности.

Надо признать, что в левом общественно-научном дискурсе традициологическая линия, к сожалению, сегодня не является одной из главных. А взгляд на традицию, соответственно, не может считаться вполне программным. Но не исключено, что в ближайшем будущем феномен традиции займёт одно из главных мест в левом интеллектуальном поле, а сама традициология будет развиваться на стыке социалистического (социально ориентированного) и консервативного направлений мысли, при этом сохраняя свободу от застарелых стереотипов правого взгляда на проблему.

«БОРЬБА ЗА ТРАДИЦИЮ»: НОВАЯ ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕГИТИМАЦИИ

Традиция – неоценимый капитал истории. Это механизм поддержания моральных норм и накопления идеалов коллективного опыта, культурных и социальных достижений. С точки зрения современной традициологии именно традиция делает возможным «обоснования социальным субъектом выбираемого будущего поведения через референцию к авторитету прошлого» [12, с. 5].

Главная проблема в освоении этого ресурса в РФ и других «развивающихся» странах (по другой терминологии – полупериферийных) связана с идеологическими догмами рыночного общества. Точнее, с серьёзными потерями правящего корпоративно-олигархического слоя в случае замены либерального экономического курса на принципы долгосрочного развития, которые являются социально-экономическим императивом традиционализма. Тем не менее рано или поздно эту «плату за развитие», то есть за отказ от уже деградирующего либерального проекта, придётся внести.

Это напрямую касается и сферы общественных наук. В западном научном сообществе «поворот к традиции» уже осознан и в качестве тренда набирает силу. В России по традиции немалая часть исследователей привержена теоретическим схемам дня вчерашнего.

Так, например, А. С. Ахиезер, С. Г. Кирдина и др., представляя уже устаревший взгляд на состояние российского общества, доказывают, что в нём имеет место «раскол целостности», заключающийся в «борьбе противоположных идеалов – вечевое (соборное, либерального) и авторитарного (абсолютистского, тоталитарного)» [12, с. 52].

Раскол в обществе, бесспорно, существует, хотя и не симметричный. Но обозначение противостоящих друг другу полюсов некорректно и внутренне противоречиво. Так, соборность (принцип согласия социального большинства) не имеет ничего общего с либеральным принципом делегирования ре-

альной власти борющимся между собой элитам. Политическая конкуренция меньшинств и демократическое большинство — явно не одно и то же. Вспомним такую нашумевшую, но показательную историю, как швейцарское голосование по строительству минаретов. Решение большинства подверглось нападкам как «архаичная, незрелая и неэффективная демократия».

Умеренная авторитарность внутренней политики (но никак не тоталитаризм) в странах периферии — в частности, в России — служит одним из условий движения такой страны в сторону европейского пространства, и напротив, либеральный элитаризм, как правило, отбрасывает страну в азиатский «контекст». Очень ярко эта диалектическая связь проявилась в процессе украинского кризиса 2014 года.

Приведённое выше высказывание — результат архаичности и неадекватности устаревшего категориального аппарата либеральной политологии. Этот теоретический реликт, сохранившийся со времён холодной войны, давно уже не в состоянии «схватывать» реалии современной политики, что в итоге ведёт к теоретическому коллапсу: вместо описания реальной политики мы всё чаще наблюдаем примеры квазинаучного мифотворчества.

Итак, включение исторического ресурса традиции в поле общественных исследований и в сценарий общественного развития (а эти процессы, разумеется, взаимосвязаны) — дело времени. Вопрос лишь в том, в каком виде и каким образом традиция будет воспринята и использована. А это зависит от самого подхода к традиции. Надо понимать, что формы традиционализма могут быть разными. Если говорить о ситуации в Западной Европе, то, вероятно, правящие элиты попытаются взять из традиции те механизмы, которые позволяют сохранить мировое социальное неравенство на новых основаниях. Де-факто это будет возврат к тому, что либеральная теория раньше называла «отсталостью старого режима».

Преодоление «религиозных и сословных предрассудков» записывалось в заслугу буржуазным революциям и считалось основой нового государства и общества, утвердившихся после 1793 года. От этого, как правило, отсчитывалось наступление «эры демократических свобод». Сегодня во имя сохранения западного мира может понадобиться реабилитация того, что

не так давно проходило по разряду предрассудков. Не исключено, что такая реабилитация окажется официальным манифестом нового, постсекулярного общества. Почему?

Причины лежат на поверхности. Либерализм находится в глубоком кризисе, а движение по, условно говоря, социалистическому (левому) пути окончательно добьёт изношенную социальную модель. Возможно, это было бы лучше всего для Европы в целом, но не для правящих, пока ещё «либеральных» элит. Поэтому высока вероятность иного сценария. Поворот к традиции и повторное освоение исторического наследия, вполне возможно, будет регрессивным и в социальном, и в моральном отношении. Уже сегодня обращение к традиции предполагает актуализацию тех или иных элементов неоязычества или крайнего фундаментализма. Это мы можем проследить на многих примерах – от сугубо культурного движения *new age*, псевдорелигиозных концепций «Третьего завета» и «эры Водолея» до политической и военной поддержки американским и европейским капиталом фундаменталистских и нацистских движений (Сирия, Украина). Например, на Ближнем Востоке против недружественных США режимов используются силы суннитских радикалов, в частности ваххабитов и ещё недавно враждебной «Аль-Каиды». Что не отменяет в некоторых случаях и борьбы с ними («государство Ирака и Леванта») – но с опорой на другой, шиитский радикализм.

Весь этот комплекс идей и явлений связан с наиболее пещерными и антигуманными элементами ближневосточных и европейских (Украина с культом Бандеры и Шухевича) традиций. Разыгрывание при необходимости радикалистской карты – конёк современных западных элит.

Здесь надо учитывать, что в отличие от консерватизма XVIII–XIX веков правый традиционализм XX века «принципиально “архаичен”... и сориентирован не на консервацию, но на реставрацию» [13, с. 25].

Вот признаки, которые указывают на многоаспектный (и пока далеко не позитивный) «поворот к традиции» – политический и социокультурный тренд последнего времени:

1) феномен «денежного феодализма» и расставание с классической буржуазностью;

2) негативная актуализация традиции в форме фундаментализма и нацизма;

3) союз либерального истеблишмента с нацизмом и радикальным исламом;

4) идеи нового колониализма: искусственная смена режимов («арабская весна»), трактовка евроинтеграции в духе «войны цивилизаций» и «конфликта менталитетов».

Всё перечисленное вовсе не является какой-то политической экзотикой и признаком всемирного падения нравов. Точнее, последнее явно имеет место быть. Нет, это всего лишь признак новой, более жёсткой зависимости стран мировой периферии от мирового экономического центра, установленной под предлогом модернизации, «догоняющего развития» (которая, помимо идеологического, имеет и чисто материальное выражение – в этом смысле весьма показательно подписанное Украиной соглашение об ассоциации с ЕС и попытка решать экономические проблемы страны путём жёсткой зависимости от кредитов и рекомендаций МВФ).

Существует ли перспектива иного, цивилизованного, гуманного, конструктивного неотрадиционализма?

Да, существует. Под цивилизованным неотрадиционализмом следует подразумевать отнюдь не обскурантизм радикальных идей. Цивилизованный, исторически продуктивный неотрадиционализм мог бы составить ценности, этические нормы и механизмы объединения людей, которые отложились в опыте христианства и других традиционных конфессий и породили формы общинного, солидарного социума. То есть явления традиции, чуждые тех или иных форм социалдарвинизма. О христианстве следует говорить постольку, поскольку речь идёт о путях Европы. В Китае речь может идти о конфуцианстве и буддизме, на Ближнем Востоке – о традиционном, умеренном исламе.

К сожалению, тот или иной взгляд на традицию – справа или слева – неизбежно влечёт за собой далеко идущие политические последствия. Правый традиционализм видит в традиции символический капитал, который находится в руках национальных элит. В одних случаях он позволяет противостоять элитам глобальным – это форма «правой традиции», аналогичная феномену национал-расизма третьего рейха. Она же лежит в основе мировоззрения современных ультраправых евроскептиков. В других случаях правый традиционализм является ядром глобального неолиберального проекта. В частно-

сти, такова роль протестантского фундаментализма в США.

Совершенно очевидно, что включённость правого традиционализма в глобалистские проекты является куда более существенным фактором мировой политики, чем когда он служит опорой для местных европейских элит. Впрочем, возможны и симбиотические конфигурации. На примере современной Украины мы видим, как местные нацистские традиции становятся послушным орудием в руках глобальных мировых игроков. В ходе украинского кризиса американский и британский капитал охотно финансируют ультраправые группировки в рамках «Правого сектора», совершившего фашистский переворот в Киеве 28.01.14 и за его пределами.

Анализ этих тенденций позволяет сделать неутешительные выводы. В ближайшее время в Западном полушарии, которое адепты геополитики склонны называть «глобальным Севером», вполне может возникнуть несколько государств нацистского типа. Первой в этом ряду государств уже оказалась Украина. Без натяжек можно говорить о социал-расизме и цивилизационном расизме США. Впрочем, латентно нацистский характер «нового интернационала элит» и ранее был вполне очевиден.

Сценарий фашистской версии традиционализма пытаются реализовать с опорой на «великое прошлое человечества». Увы, делается это в обход подлинной европейской христианской идентичности. Противопоставить этому неутешительному сценарию можно только другую традицию – подлинно христианскую, основанную не на разделении и неравенстве, а на равенстве людей перед Богом, на человеколюбии и милосердии (здесь мы не упоминаем об исторических трансформациях церковной религиозности, нередко извращавших эгалитарное содержание христианства, но говорим лишь об исконном содержании апостольского христианства).

Иными словами, правый традиционализм является мощным и пока не до конца задействованным ресурсом либерального тоталитаризма. Ужесточение последнего ведёт к более активному использованию неоязыческой – в частности, неонацистской – части традиции. Она используется как инструмент глубинной мобилизации сознания людей, попытка разбудить в них пещерный уровень сознания («новую дикость»). Такой подход к традиции является серьёзной помехой на пути

цивилизованного социального традиционализма, осваивающего христианский и социально ориентированный взгляд на традицию.

Фактически «правый» и «левый» традиционализмы исключают друг друга. Первый стремится привести Запад к неоязычеству – «новому Средневековью» без христианства (какое, например, рисует достаточно давний проект «глобальной электронной деревни» теоретика информационного общества М. Маклюэна). Второй стремится восстановить в правах отвергнутый проектом Просвещения христианский этический слой европейской традиции, включив его в современность в цивилизованных, социально ориентированных формах, без фундаменталистских крайностей. К выбору между двумя основными формами традиционализма и сводится будущая борьба за традицию.

Скажем, ставка США в борьбе против Башара Асада делается на правую традицию – на радикализм «Аль-Каиды» и ваххабизм. Американские элиты используют не своих, а чужих фундаменталистов в необходимом идеологическом режиме. Это типичная попытка заставить мифоконструкцию с использованием традиционных ценностей работать на либеральную модель. Идеологически такая мифоконструкция, как и модель с украинским нацизмом, выглядит подобно домино: правый традиционализм плюс традиционный либерализм (например, под лозунгом «евроинтеграции»).

Указанное гибридное явление – одна из возможных форм постсекулярности. В результате такой гибридности происходит понижение морально-этической планки в политике: против одной дикости любая другая сторона получает право использовать собственную «дикость». В этом случае по инерции и внутри самой либеральной эпистемологии актуализируется «код традиции» (протестантского фундаментализма американских ястребов), а не «код прогресса» (в виде интересов финансового интернационала).

Напомним, что в мышлении современных ультраправых преобладают расовые и мистические мотивы. Различия между либерализмом и новым правым традиционализмом ярко проявляются на уровне стилистики и эпистемологии (с одной стороны – мистицизм, с другой – рационализм и меркантилизм), но не на уровне этики. Однако с точки зрения

морально-этических архетипов эти различия не так значительны, как может показаться. В сущности, этика новых правых есть ретроспекция и упрощение либеральной этики до её древнейших истоков. Вспышка нацизма (со всем его экзотическим комплексом идей) в европейской истории XX века – результат именно такого регрессивного упрощения. И сегодня «новый» правый традиционализм не должен стать ответом на нынешний общественный запрос.

Следует признать: будущее постсекулярного общества – это не столько поворот к традиции, сколько борьба за традицию. Цена вопроса велика. Либеральному правому традиционализму можно противопоставить только «левый», социальный традиционализм. Пещерному языческому «праву сильного» – традицию христианской справедливости.

Идейная конфронтация неизбежна, но отныне она будет проходить в сфере традиционных смыслов, а не политических доктрин. Тот, кто способен заговорить от имени традиции и заставить общество слушать себя в этом качестве, тот и овладеет ситуацией. Задача здоровых общественных сил – не отдать будущее во власть деструктивных неонацистских, неоязыческих, фундаменталистских тенденций. Эта задача выполнима.

КОНЦЕПТ ТРАДИЦИИ В РОССИЙСКОМ ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Одна из проблем России заключается в том, что понятие «традиция» в нашей стране серьёзно искажено как противниками, так и сторонниками традиционализма. В дискуссиях между ними наблюдается бесконечная борьба исторических фетишей и фобий. Сами дискуссии нередко выглядят как состязание в навешивании ярлыков. Масло в огонь подливают отдельные исследователи, охотно использующие науку в идеологических и публицистических целях. Они склонны произвольно применять в мировоззренческих и политических дискуссиях термины, взятые из концептосферы «традиции» и смешивать их с лексикой самого разного рода.

С одной стороны, в использовании этих слов присутствует неуместная оценочность. С другой стороны, нередко в одном смысловом ряду оказываются такие понятия, как, например, «патриархальность» и «традиция», что, прямо скажем, не одно и то же, или методологически сомнительное разделение обществ на «открытые» и «закрытые», или попросту эмоциональные определения вроде «цивилизованный мир». Эта ситуация вокруг понятия «традиция» напоминает некогда имевшее место некорректное использование понятия «средневековый» в значении «отсталый» и негативный миф о Средневековье как «темных веках» (dark ages), разрушенный усилиями независимых историков – в частности, представителей французской «школы Анналов». А ведь в своё время этот груз предубеждений создал немало проблем для развития медиавистики.

Так же сегодня обстоит дело и с традициологией. Использование применительно к механизмам социокультурного опыта оценочной лексики, взятой вне научного контекста, некорректно в принципе. К тому же этот словарь устарел даже как явление публицистическое: он выполнил свою роль в ходе идеологических баталий XX века и давно не актуален.

Совсем другие понятия и категории будут применяться для описания общества в постсекулярную эпоху. Этот факт вполне осознаётся на Западе, но российское «креативное словесие» провозглашает в собственной стране моду на идейный секонд-хенд.

Судьба традициологии в России оставляет желать лучшего. Пока что представление о традиции и традиционности во многом продолжает пребывать в плену политической конъюнктуры. Разумеется, во многом это связано с особенностями гуманитарной сферы современной России как государства мировой периферии, или полупериферии. Но не только. Некорректное употребление слова «традиция» объясняется и чисто языковыми казусами, которые хорошо прослеживаются в рамках англо-русских транскрипций.

Рассмотрим понятие «традиция» в англоязычном контексте. Там, в отличие от русского контекста, концепт традиции распадается на два понятия: *traditional* и *conventional*.

Traditional обозначает принадлежность к историческому механизму передачи коллективного опыта. Русская община, символизм британской монархии, германская мечта об объединении Европы – всё это ряд конкретных трансисторических явлений, которые могут быть объединены в рамках традиции. Когда-то все указанные явления были предметом договора, но сегодня воспринимаются как безусловные.

Conventional обозначает явления, вошедшие в коллективную память именно как результат каких-то соглашений. Это ситуация в большей степени конвенциональная, договорная, нежели смыслообразующая и принадлежащая сфере социальных и культурных архетипов. Такие явления могут перемещаться из сферы «конвенционального» в сферу «традиционного» в течение больших исторических сроков. Учитывая, что культурная и социальная системы в значительной степени структурированы как язык (аналогичны знаковой системе языка), можно уподобить механизм традиции некоторым лингвистическим моделям. В особенности она напоминает модель порождающей грамматики лингвиста Наума Хомского, объединяющую два структурных уровня – *deep structure* и *software structure* [16; 21]. Правда, в случае с традицией отношения между верхним и нижним уровнями содержания более динамичны и равноправны.

В рамках Традиции собственно «традиция» и «конвенция» способны активно влиять друг на друга. Причём в современном обществе – обществе транзитивного периода, периода смены либеральной идеологической парадигмы – существенное и актуальнее именно процесс обратной связи. То есть актуализация традиционных исторических смыслов, традиционной семантики в рамках актуальных общественных конвенций и частных отношений между членами общества. В современном контексте диалектика «традиционного» и «конвенционального», также как диалектика традиции и модернизации, требует дополнительного исследования в рамках общественных наук.

Сегодня очень важно изучить особенности употребления слова «традиция» в публичной сфере и по возможности реконструировать его подлинный смысл. Научное сообщество нуждается в создании нескольких конкурирующих программ в рамках «исследований традиции» (tradition researching). Необходимо создание нескольких научных групп, которые могли бы развивать это направление исследований независимо друг от друга. Очевидно, что этот вопрос имеет важное национальное и государственное значение. Возможные темы исследований: «Традиция как механизм передачи социального опыта», «Традиция как источник социальных конвенций».

Сам феномен традиции должен быть и будет в ближайшее время введён в проблемное поле общественных наук в качестве полноправного предмета исследования. Проблема изучения механизмов традиции, её генезиса и общественных функций в новом постсекулярном обществе будет иметь такое же важное значение, как проблемы выбора идентичностей или гендерная проблематика в эпоху позднего либерализма. Вопрос о значимых ценностях и социальной этике будет столь же важен, как сейчас – в условиях разделённого общества – важен вопрос о малых группах и «значимом Другом». На место поиска социальных различий придёт поиск объединяющих, системообразующих социальных факторов.

Устойчивость и общественная значимость понятий, определяющих судьбу нации, её историческую миссию, позволяет говорить о трансисторизме как явлении непрерывности традиции, об исторических лейтмотивах национального развития.

Вполне продуктивно на сегодняшний день определение традиции, которое дают С. А. Мадюкова и Ю. В. Попков: «В современных локальных сообществах неотрадиционализм характеризует ситуацию использования традиции для обоснования социальным субъектом выбираемого будущего поведения через референцию к авторитету прошлого» [12, с. 5].

Сегодня необходимо по-новому обозначить границы понятия «традиция» в условиях новой общественной модели. Но приверженцы «патриархальности», как и их оппоненты-модернизаторы, могут быть спокойны. Речь идёт не о возвращении к обычаям и институтам прошлого, не об исторически конкретной «самодержавной традиции», будь то реставрация монархии или проект «СССР-2». Речь идёт о куда более тонком и сложном процессе – о перезагрузке механизмов преемственности в культуре и обществе. Такая перезагрузка использует традицию в качестве точки опоры нового движения из прошлого в будущее, для корректировки исторического курса. Это не та или другая традиция, а новый тип общественного знания и общественной коммуникации, подчинённых принципам функционирования традиции.

Традиция, преемственность – то, в чём нуждается общественное большинство. Причём главная цель – поиск точки сборки традиции и её самовоспроизводство, а не собирание тех или иных образцов исторического антиквариата.

При этом мы, конечно, считаем своим долгом указать на те моменты в истории России, когда традиция прерывалась. Эти точки на временной шкале необходимо обозначить. Например, нельзя умолчать об опричнине Ивана Грозного, от которой он сам же впоследствии с ужасом отказался. Благое намерение – справедливое распределение земли между боярами – проводилось негодными средствами, руками людей без морали. Одна несправедливость породила другую. В итоге «опричнина» как социальный феномен (речь не только об исторически локальном явлении) стала постоянным явлением русской жизни. Чекистские чистки, нефтяная рента, правовой и экономический беспредел – в широком смысле всё та же опричнина.

Ещё более серьёзный и, пожалуй, ключевой для России момент срыва – это церковная «реформа» XVII века. Церковный Раскол был инициирован сверху светской властью и расщёк

тело Церкви. Народная теократия и народная Церковь стали невозможны. А вне этого условия невозможно и нормальное формирование христианской нации.

После так называемого церковного Раскола мы в конечном счёте получили синодальную «государственную» церковь. Это замедлило формирование народной религиозности, на основании которой только и складывается нация (более короткий и дешёвый путь – этнонационализм, но он не совместим с российской христианской традицией). В итоге Раскол XVII века в известном смысле предопределил события 1917 года. Ни церковь, ни крестьянская масса, ни дворянская элита не смогли противостоять катастрофе, которая отбросила Россию далеко назад, подорвала её духовные и социальные корни. 1917 год – кардинальный слом всей общественной парадигмы России. Очевидное продолжение этого слома (то есть ещё один разрыв, в принципе невозможный) – это уничтожение крестьянства, а с ним и русского общинного сознания. Предвидя некоторые вопросы, оговорюсь: судьба других «старорежимных» сословий тоже может и должна быть предметом разговора, но не в этой статье.

Ситуация 1991-1993 годов вряд ли требует специальной характеристики: эти события ещё свежи в нашей памяти, и очевидно, что это ещё один разрыв.

Таковы главные события, предопределившие печальный российский феномен, суть которого в том, что разрыв с традицией сам стал традицией. В действительности таких событий намного больше.

Но мы должны вернуться к главной теме разговора и вопросу «Кто виноват?» предпочесть вопрос «Что делать?».

Иногда приходится слышать: «Каждый выбирает традицию, как считает нужным», «Не фальсификация ли всякий разговор о традиции?» Это неверно. Фундамент традиции состоит из того, что обладает безусловной ценностью для большинства. В России «безусловные» ценности более или менее очевидны. Это победа над фашизмом, православная самоидентификация и принципы справедливого общества. Тем, кто склонен брать во внимание не степень поддержки тех или иных идей в обществе, а элитарный «разброс мнений» и элитарный же «консенсус», есть о чём задуматься.

Традиция, преемственность – это то, в чём сейчас нуждается национальное большинство. Задача заключается не в том, чтобы вытащить из прошлого те или иные институты в ущерб другим, а в том, чтобы заставить нынешний социум развиваться в соответствии с традиционным принципом накопления коллективного опыта. Это происходит не на основании исторического отрицания и исторических разрывов, как неоднократно случалось в истории России – истории расколов и верхушечных общественных переворотов. Исторически конкретные формы традиции служат здесь не фетишем, но ориентиром. Они должны не разделять, а объединять людей.

Характерный пример. Когда Донецкая и Луганская народные республики сражались за свою независимость, среди их сторонников наметилось интересное стилистическое расхождение. Оно никак не влияло на решимость поддерживать ДНР и ЛНР. Но при этом часть сочувствующих сравнивала ДНР и ЛНР с «Молодой республикой Советов», зажатой кольцом фронтов, другая же воспринимала происходящее по аналогии с Белым Доном, Добровольческой армией, Ледяным походом. О чём говорит этот парадокс? О том, что перед лицом настоящих, а не вымышленных исторических испытаний национально мыслящие русские интеллектуалы оказались едины. Обе стороны выступили против украинского либерал-нацизма, против наследников Петлюры, Бандеры, Шухевича и Гитлера. Через сто лет после трагических событий гражданской войны в России русское историческое сознание оказалось единым, а разница между «красной» и «белой» идеями осталась уделом академических штудий. Это важный шаг на пути к преодолению самого глубокого разрыва традиции в русской истории. Это пример того, как глубочайший исторический разрыв может быть преодолен.

Исходя из сказанного, можно поставить вопрос шире: как реконструировать традицию, нащупать её «точку сборки»? Для начала необходимо научиться слушать друг друга. Серьёзный анализ состояния традиции в России дают авторы социально-политического сборника «Перелом». Они, в частности, уверены: консенсус на основе традиции «отражает собирательную точку зрения российского большинства, не раскалывая его на левых и правых. Она отвечает сегодняшней политической ситуации» [17, с. V]. Другое положение, проходящее сквозь тек-

сты всех авторов, состоит в следующем: традиция – не какие-то формы прошлого, заранее и априори получившие «сертификат исторического соответствия». Традиция – это то, о чём договариваются. Если надо, договариваются повторно. В этом и состоит суть национального консенсуса.

Политолог Елена Жосул в своей статье о «Переломе» констатирует необходимость «договариваться во имя общих целей и святынь, которые важнее, чем изысканные особенности собственной идеологической концепции, столь дорогой сердцу» [27].

Конечно, активной части российского общества ещё только предстоит научиться слушать друг друга. Ведь рамки традиции нельзя определить назначающим жестом. Но и позиция исторического нигилизма («Я не знаю, что такое традиция», «В России нет традиции») как результат массовой дезориентации в советскую и постсоветскую эпохи не может считаться конструктивной.

Задача не в том, чтобы настоять на готовом понимании традиции, а в том, чтобы поддерживать процесс её обсуждения. Процесс работы коллективной памяти чрезвычайно важен для традиции. Он заставляет традицию самовоспроизводиться. Разумеется, он должен происходить не только в виде конференций и круглых столов (эффект от таких официальных мероприятий редко выходит за пределы академического обсуждения), но в первую очередь в повседневной жизни. Генезис традиции должен стать делом каждого человека, осознающего принадлежность к русской культуре, предметом гражданской активности.

ТРАДИЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ: ВОЗМОЖНО ЛИ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ПОЛЕЙ ПОНЯТИЙ

В настоящее время от консервативной мысли требуется чёткая манифестация критериев и маркеров понятия «традиция». Что в свою очередь требует выработки параметров социокультурного баланса – баланса процессов стабилизации (поле традиции) и эволюции (поле новации). Сегодня это одна из существенных теоретических проблем.

Как подчёркивают представители современной традициологии, необходимо определить «единство, меру противоречивого взаимодействия традиции и новации. Если эта мера нарушается и начинает доминировать одна из сторон, то имеет место консервация традиции, превращение её в музейный экспонат, либо навязывание чуждого, неприемлемого для данного этнокультурного сообщества опыта. В обоих случаях наблюдается разрушение “живой” традиции и потеря преемственности социального опыта» [12, с. 128].

В рамках подлинного консерватизма традиционная культура не разрушается, а, модифицируясь, сохраняется в обновлённом виде.

В последнее время одним из наиболее популярных мемов, спущенных в массовое сознание, является мем «модернизации». Слово это изначально принадлежит узкому, скорее технологическому контексту. Но наблюдая его функционирование в сфере политической риторики, нетрудно заметить попытку ряда авторов резко расширить рамки понятия, превратить его в идеологему и даже в своеобразный лозунг.

Между социально и научно обоснованным понятием модернизации и модернизацией как идеологемой есть существенная разница. Одно дело модернизация как технологический рывок и социальный инжиниринг. Другое дело – вера в модернизацию как технократический культ, навязываемый обществу во избежание решения реальных и насущных задач. В принципе вопрос о модернизации сегодня как никогда акту-

ален, но он имеет более узкие и куда более конкретные рамки, чем у авторов «модернизационных» идеологов. Речь идёт о наметившемся в последние два года мировом тренде, связанном с реиндустриализацией ведущих стран мира.

Как свидетельствуют аналитики журнала «Эксперт», «первыми флаг реиндустриализации подняли США, от них стараются не отставать и Европа, и остальной мир. Причём речь идёт не просто о возрождении производства на своей территории – мир включился в новую гонку под названием “индустриальная революция 4.0”, главными технологическими драйверами которой становятся цифровые и аддитивные технологии, а также робототехника, которые проникают в традиционные отрасли и радикально меняют их облик» [15, с. 44]. В настоящее время Россия также собирается «провести реиндустриализацию, вступить в новый технологический уклад и развить диверсифицированный оборонно-промышленный комплекс, способный конкурировать на гражданских рынках» [15, с. 44].

Такова объективная реальность. Совсем иное дело – реальность политехнологическая.

Во втором случае лозунг «модернизации» явно или скрыто противопоставляется понятию традиции, как идеологически, так и стилистически. Это противопоставление абсолютно некорректно. Напомним, что похожим образом когда-то идеологически обыгрывались понятия «стабильность», «устойчивое развитие». Надо прямо сказать, что практика использования терминов-заклинаний в серьёзных политических дискуссиях сводит на нет их полезный результат.

Когда «модернизация» превращается в идеологему, мы получаем современный аналог первобытного культа, где слово не указывает на явление, но становится сакральным понятием, которое покрывает наличную реальность и оправдывает любую политику. Понятая подобным образом «модернизация» начинает служить почти мистическим объяснением для таких неприглядных вещей, как наступление на семейные ценности, борьба с православной Церковью, разгром фундаментальной науки и образования. В последнем случае мы имеем дело с возвратом к концепции «навыки вместо знаний», уже нанёсшей серьёзный урон образованию в СССР 1920-х гг. и сегодня вновь поднятой на щит.

Само слово «модернизация» всё чаще становится фетишем, как в советское время слово «революция». По поводу такого понимания модернизации ещё в эпоху холодной войны грустно шутили американские физики: «Нет бога кроме Прогресса, и Генри Форд пророк его». Но сегодня сциентистский культ перестаёт быть потешным: вера в Прогресс всё больше подменяет реальный прогресс, как когда-то вера в «мировую революцию» подменяла реальную революционную перестройку общества.

Концепт «модернизации без традиции» спекулятивен, он не даёт толчков к развитию. Бесконечное жонглирование такими терминами, как «инновации», «технопарки», «интеллектуальные центры», лишь подчёркивает словесно-пропагандистский характер данного комплекса идей, тесно связанного с политической и экономической доктриной неолиберализма. С победой культа модернизации в России становится всё менее вероятной собственно модернизация. В действительности ничего не модернизируется, да и как можно что-то модернизировать, одновременно громя Академию наук, используя тестовый метод проверки знаний в рамках ЕГЭ или пошагово вводя платное образование? В результате экономика, наука, социальная сфера деградируют. Но обыватель верит в «модернизацию» как в пришествие мессии. Точно так же в 1990-е годы он верил во всемогущую «невидимую руку рынка». Всё объявляется ничтожным по сравнению с главной идеей, всё приносится на алтарь: традиция, вера, мораль, наконец, сама модернизация – настоящая, без кавычек и оккультного ореола.

Тенденция эта почти повсеместная. Но именно в России процесс идёт такими темпами, как нигде более в западном мире. Под нож мнимой модернизации пускается пенсионная система и здравоохранение, сливаются друг с другом («оптимизируются») учреждения, образование и лечение становятся платными. Вместо обычного имущественного расслоения, допустимого в разумных пределах, культивируется изначально неравный доступ к социальным благам и институтам, социальная сегрегация. Так в «модернизируемом» обществе утверждается новая сословность, и становится понятно, какой политический тренд обслуживает описанная идеология. В мире немало стран, где проблема всеобщей грамотности ещё не реше-

на. Россия же рискует расстаться со своим давним достижением, чтобы затем решать проблему грамотности повторно.

Сегодня в сторону псевдомодернизации толкают и Церковь. Её хотят заставить принять секулярный конкордат, расколоть паству на социальные группы. Это опасная тенденция. Нападая на Церковь и исторически присущее России православие, нападают на самом деле на традиционализм как таковой. Даже традиционалисты атеистического направления ощутили на себе это давление [23].

Общество пытаются убедить в том, что традиция – это нечто неподвижное и косное, вечный страх перемен. Но это крайне недобросовестная точка зрения.

Современная традициология подтверждает: «Позиция, противопоставляющая традиции и новации, глобализирующееся общество и общество традиционное, является устаревшей. Её сторонники часто выпускают из вида феномен модификации традиций...» [12, с. 58]; «традиция имеет потенциал изменчивости, адаптации» [12, с. 6].

Традиция постоянно пребывает в развитии. Но развивается она не под внешним руководством, а на основе внутренних интеллектуальных ресурсов. Именно поэтому национальные пути модернизации разных обществ могут пересекаться, но никогда не предполагают намеренного подражания. Где есть подражание, там модернизация невозможна.

Прочный базис традиции – вот что лежит в основе настоящей модернизации. Желание разорвать очевидные диалектические связи между понятиями – признак интеллектуальной безответственности. Настоящая, а не лозунговая модернизация возможна только внутри и на основе традиции.

Известно, какую огромную организующую роль играет протестантизм в самосознании американского общества – как масс, так и политических элит. Даже в высказываниях американских президентов есть признаки этого влияния, в частности, в утрированных высказываниях о «божественных предначертаниях» (Джордж Буш) или в концепции Manifest Destiny для Америки. Всё это, несмотря на кризисные явления в мировой экономике, не только не мешает, но напротив, помогает социальному, политическому, научно-техническому прогрессу США.

Модернизация настоящая, не газетная – это часть традиции, часть механизма исторической преемственности, а не

их отрицание. В устойчивом и стабильном обществе помимо контрактных отношений задействован механизм традиции, то есть осознанной (а не спонтанной) исторической преемственности коллективного опыта. В таком социуме складывается особый тип человеческих отношений. Эти отношения подобны отношениям дальних родственников и составляют следующий по счету уровень социальных связей вслед за семейными и родственными.

Если общество ориентировано на живую, динамичную традицию, это исключает застывшую патриархальность, сиюминутные выгоды и узкие групповые интересы, а кроме того – безудержный утопизм в выборе будущего. Такое общество можно назвать «большим социумом». Большому социуму необходимы верность национальным ценностям и культурным символам, политическая воля в принятии решений, историческое чутьё и стратегическое мышление в выборе будущего.

В доказательство данного тезиса приведём пример «от обратного». Коммунистическая индустриализация в СССР проводилась без учёта традиции. Ей в жертву была принесена одна из общественных групп – крестьянство, что выразилось, в частности, в крайне уродливом явлении «коллективизации». Это типичный пример модернизации без учёта традиции. Именно поэтому советская индустриализация оказалась недолговечной, а возникшие на её основе элементы социального государства остались лишь временным достижением. И это достижение было легко демонтировано в 1990-е годы, в период некомпетентного и губительного для страны экономического курса. Пренебрежение традицией сыграло и пагубную роль в культуре. Когда советский проект закончился, значительную часть российского общества составляли люди со стёртой идентичностью.

Секрет подлинного традиционализма в том, что «точка сборки» традиции никогда не находится в одном и том же месте. Она перемещается вместе с накоплением социального опыта и формированием социальных практик. Как бы ни хотелось некоторым нашим оппонентам представить традицию памятником самой себе, это не соответствует действительности.

Традиция пребывает в постоянном движении.

Вместе с тем всё ценное, что было накоплено, остаётся в распоряжении общества. Даже в случае кардинальных сдвигов общественной парадигмы прежний опыт не отбрасывается, но получает новое место и новую роль в новых условиях. Всё новое важно, всё старое необходимо. Этот принцип следует назвать принципом «комбинированного развития». Прежде он был более характерен для культурных практик, чем для социальных и политических институтов. Задача состоит в том, чтобы в ближайшее время сделать этот принцип универсальным.

Моральные ценности, в нашем случае христианские, остаются неизменными. Они скрепляют каркас традиции, не дают ей рассыпаться и распасться. Граница между полем традиции и полем релятивистского сознания сегодня видна очень отчётливо. Она легко различима, несмотря на попытки интеллектуалов постмодернистской школы спрятать эту границу за эффектами квазинаучной риторики, сомнительными социологическими исследованиями и культур-расистскими доктринами, подобными фукуямовскому «концу истории».

Для нормального развития общества необходимо искать и находить в каждой эпохе, культурном феномене и в каждой исторической ситуации точку сборки традиции.

КОНСЕРВАТИВНЫЙ СОЦИАЛИЗМ: ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Политическая ситуация в России ускорила формирование новой, адекватной времени идеологии – социального консерватизма. Политики и публицисты ещё не выработали устойчивого отношения к ней.

В левой среде новый тренд, скорее всего, вновь обнаружит давнее разделение на социал-демократов и народников. Это разделение, по большому счёту, сохранялось на протяжении всего XX века, хотя и было погребено под бетонной плитой советской идеологии. В ближайшее время реакция со стороны левых станет более заметной. Это тем более очевидно, что фактически социал-консерватизм, или консервативный социализм, – политический конкурент ортодоксального коммунизма, поскольку потенциально он способен разрушить неоправданную монополию наследников компартии на понятие «социальное государство».

Уже сегодня социал-консервативные тезисы на социальных форумах и в прессе встречают контртезисы со стороны адептов канонического коммунизма. Часто можно услышать, что главное в любой идеологии – не ценности, а классовая сущность. Следовательно, уверены коммунисты ленинско-сталинского «формата», между либералами и консерваторами неизбежно классовое родство: и те и другие выражают интересы крупного капитала, хотя, возможно, имеют при этом «финансовые» и «сырьевые» предпочтения. Консерваторы державно-патриотического направления лоббируют интересы силового блока и ВПК.

Классификация вполне традиционная, но есть одно существенное обстоятельство, которое она не учитывает. В странах «первого мира» ситуация действительно пока ещё отвечает классической марксистской схеме. Но в России, как и в любой стране мировой периферии, западные политические реалии искажены.

В отличие, скажем, от США, в России либерализм не вытекает, а идёт вразрез с национальной традицией. Поэтому консерватор оказывается на перепутье: что поддерживать – традиционные ценности или либеральный авторитаризм? Консервативное сообщество в этой ситуации неизбежно должно расколоться. Одно консервативное направление обслуживает («консервирует») либерализм – именно это и имеет в виду левая критика. А другое? У другого, альтернативного направления путь только один – влево. Ведь больше некуда. Причем не как-нибудь, а «через голову» либералов, через их отрицание. Эта ситуация причудлива для обыденного сознания, но на редкость плодотворна. Объективно она скрепляет и не даёт разорвать узы справедливости и традиции. Но без понимания политического контекста это движение кажется необъяснимым, надуманным. Именно поэтому консервативных социалистов коммунистические идеологи называют то «левыми без коммунизма» (по аналогии с известными кронштадтскими матросами с их лозунгом «Советы без коммунистов!»), то «правыми консерваторами, которые маскируются под левых». Второе определение в корне неверно, а первое не вполне точно. Для уяснения сути русского консервативного социализма необходим небольшой экскурс.

В России всегда были социал-консервативные лидеры и партии, и это не только умеренная часть эсеров. Сам принцип консервативного социализма был озвучен, например, устами протоиерея Валентина Свенцицкого. В 1912 году в статье «Христиане и предстоящие выборы» он писал о том, что на выборах в Думу следует голосовать за «кандидатов левых партий» (эсеров), поскольку только они способны «разъяснить народу, где его враги» [31].

Известный, можно сказать, титульный, консерватор Константин Леонтьев помышлял даже о монархическом социализме. В 1880-е он писал: «Иногда я предчувствую, что русский царь станет во главе социалистического движения и организует его так, как Константин способствовал организации христианства ...» [5, с. 94].

Но истоки социал-консерватизма, конечно, следует искать у славянофилов с их пониманием соборности. А. Хомяков с единомышленниками частично вывели это церковное понятие из прежнего контекста и перенесли на общество в целом,

подразумеваемая особый (семейно-общинный) тип связи между его членами. Славянофилы трактовали соборность как общинный идеал, связывая его с идеалом коллективного спасения, характерным для русского православия. По мере развития русской философии, у понятия «соборность» появлялись синонимы. Например, Н. Трубецкой называл принцип соборности «метафизическим социализмом», С. Франк – «философией Мы». А Георгий Флоровский в «увлечении коммуной» видел «подсознательную жажду соборности». Николай Бердяев сравнивал соборность как всеобщее спасение с «жестоким», по его мнению, учением Фомы Аквинского о том, что своим блаженством праведники в раю обязаны муками грешников в преисподней.

Но это уже этапы развития идеи. Главный её смысл состоял в сближении крестьянской общины с общиной церковной через идею «коллективного спасения».

Однако на самом деле проблема была гораздо шире и заключалась в создании нового общественного договора, который объединил бы все части российского общества под началом – необязательно религии, – но православных нравственных ценностей.

Основными идеями при самоопределении крестьянского «мира» служили в первую очередь справедливое владение землёй и взаимопомощь. Конечно, взгляды носителей этих постулатов, то есть крестьян, могли не вполне соответствовать «правильному» церковному православию. Но путь социального строительства, намеченный К. Аксаковым и А. Хомяковым, как раз и заключался в том, чтобы эти начала постепенно сблизились. Именно здесь находилась точка роста русского гражданского общества. К сожалению, его вызревание столкнулось с политическими трудностями: как с прямым противодействием (обезземеливание крестьян, искусственное разрушение крестьянской общины, всевластие «хлебной олигархии»), так и с революцией, обернувшейся новым закрепощением.

Исторические катаклизмы ударили по крестьянской общине раньше, чем она смогла им противостоять. Так очередное прерывание традиции и переписывание национальной идентичности в XX веке во многом свели на нет усилия строителей русского гражданского общества.

Понятия «соборность», «община», «коллективное спасение» нельзя сужать до границ крестьянского вопроса и узкоцерковной проблематики. Принципы крестьянской общины и церковная соборность оказывали влияние на всю русскую жизнь – это легко проследить по архивным документам и произведениям русских классиков (Н. Лескова, Ф. Достоевского, Л. Толстого, В. Розанова и др.). Есть немало свидетельств этого влияния. Неслучайно любое социально значимое событие в крестьянской России воспринималось в религиозно-аскетическом смысле. Революционерка Вера Фигнер писала, например, что даже хождение в народ «люди из народа» понимали вполне однозначно: они полагали, что мотивом действий народников является спасение души [20, с. 125]. Многие усматривали религиозный смысл в попытках освободить крестьян. Даже Емельян Пугачёв, призывая крестьян в своё войско, обещал «пожаловать землёй, крестом и бороною», то есть кроме земли вернуть старую, истинную веру. Как бы мы ни относились к личности самозванца, он (а позже народники) апеллировал именно к принципу коллективного спасения.

Сегодня консервативный социализм вновь востребован. Иногда от либеральных публицистов можно услышать, что это направление – своего рода ремейк начала 90-х. То есть тех самых событий 1991–1993 годов, когда бывшие коммунистические аппаратчики пошли на временный союз с патриотами. Это абсолютно неверная аналогия. Коммунисты, либералы и казённые патриоты – это три отряда «партии власти» в широком смысле слова. События 1993 года, когда эти отряды вдруг столкнулись, были просто войной за раздел бывшего советского наследства. Консервативные социалисты (социал-консерваторы) не связаны ни со старыми, ни с новыми группами номенклатуры и бизнеса и никогда не участвовали в разделе советского пирога. Правда, многие коммунисты сегодня тоже называют себя консерваторами – в частности, КПРФ, но лишь потому, что хотели бы реанимировать советский проект. Тем не менее эта концепция имеет мало общего с реальным социализмом, а тем более с подлинным консерватизмом.

В понимании коммунистов реконструкции подлежит исторически локальный проект советского социального государства. Но этот проект изначально строился на костях крестьянского мира и церковной общины. То есть тех самых на-

чал, на стыке которых в начале XX века должен был строиться консервативно-социалистический, солидаристский проект. Большевистский корпоративный коллективизм стал подменой исторической русской соборности. Целью коммунизма на начальном этапе было построение общества, вырванного из контекста истории и традиции. Вместо справедливых форм общежития навязывался государственный раздаточно-распределительный механизм.

Поэтому социал-консерватизм никак не может считаться ремейком коммуно-патриотизма или просто коммунизма. Неудивительно, что его сторонники ведут сегодня жёсткую полемику с наследниками КПСС. Они стремятся разрушить неоправданную монополию этих наследников на понятие «социальное государство». К этому добавляется принципиальная полемика с неоленинизмом во всех его формах.

По мнению социал-консерваторов, воинствующий атеизм навсегда отрезал большевистский проект от русской традиции. К тому же неясно, какой класс взял власть в 1917 году. Революция делалась руками в основном не пролетариев, а крестьян, которых вооружили с началом Первой мировой войны. Большевики использовали крестьянскую массу, посулив землю, чтобы поднять против государства, а затем «подарили» коллективизацию и колхозы с трудоднями. Фактически крестьянство как класс было уничтожено, и в этом, если следовать логике консервативных социалистов, заключалась одна из задач большевизма. С этой точки зрения большевики – вовсе не революционеры. И консервативные социалисты не одиноки в своей оценке.

Как известно, Карл Маркс в переписке с Плехановым и Верой Засулич ясно высказался в том смысле, что революция в крестьянской на 80% России может быть только крестьянской. Поэтому своими последователями в России он считал народников, а не социал-демократов. Переписку скрыли от посторонних глаз, да и в советское время её существование не афишировалось.

Пролетариат же в дореволюционной России был крайне малочисленным, его большевикам пришлось искусственно «делать», сгоняя человеческий «материал» из деревни. Последствия этой искусственной люмпенизации общества до сих пор определяют общественную атмосферу в стране. А сам

процесс очень напоминает «социальный инжиниринг» идеологов глобального общества.

Трагическая метаморфоза 1917 года стала результатом отнюдь не поступательного общественного движения, а череды исторических срывов – моментов прерывания традиции.

Всё это не отменяет нескольких очевидных достижений советского времени. А именно решения проблемы доступности образования, Победы 1945 года, а также успехов в создании фундаментальной науки и социального государства. От этого наследия нет никаких причин отказываться, независимо от идеологических позиций. Такого рода отказ – сегодня он очень резко проявляется в истории с РАН и системой образования – уже стал причиной курса на социальную деградацию.

Страна четверть века проедает созданное до 1991 года и никак не поднимется до уровня промышленного развития 1990-го. Неудивительно, что об СССР сожалеет две трети граждан России. Называть их на этом основании «совками» и считать неполноценной социальной группой недопустимо. Такая практика – одно из проявлений моральной нечистоплотности российского либерального истеблишмента. Необходимо разделять преступления партийной номенклатуры и права бывших советских граждан, трудом которых была создана научно-техническая база СССР. Жизнями простых советских людей была оплачена и победа в войне. Эти люди стали жертвами тех, кому они верили, и имеют право на моральную и материальную компенсацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Понятие «перестройка» перестаёт быть феноменом советской истории. Перед необходимостью кардинальных изменений сегодня оказался весь западный мир. Причина - глубокий кризис линейных парадигм развития, связанных с либеральным дискурсом, и истощение их интерпретативного и исторического ресурсов.

Этот кризис в значительной мере связан с тем, что идеология либерализма уже не способна легитимировать экспансию глобальной экономики и сопровождающее её ужесточение методов политического контроля. Нарастание процессов дезинтеграции в либеральной модели выражается в разрушении международного права, отказе от христианских и иных моральных норм, демонтаже исторических и биологических идентичностей и т.п. Концепция экономического либерализма как идеологического базиса общества, а вместе с ней и все её «гуманитарные» проекции терпят неудачу. Либеральная демократия находится в глубоком кризисе. Что появится взамен?

Чтобы выйти из кризиса, мировой системе придётся перестраиваться, менять идеологическую компоненту. Но сделать это в рамках классического либерализма и «неолиберализма» уже невозможно. Открытый отказ от привычного символа веры грозит серьёзными общественными издержками, потерей управляемости в обществе. Поэтому диспетчеры системы вынуждены переходить к новым, более жёстким властным сценариям, и как следствие - к более архаичным и авторитарным формам идеологии.

Правда, субъект ответственности и субъект действия могут при этом не совпадать. Пример: «гибридная война». Как украинский, так и ближневосточный кризисы показывают, что в рамках «гибридной войны» заказчик (субъект ответственности) и исполнитель (субъект действия) разные лица.

Что это означает с точки зрения чистой идеологии? Что на смену проектам Просвещения - классической научности, рационализму и универсализму - идёт нечто иное.

Исследователи всё чаще говорят о «состоянии постсекулярности». Причём это состояние может быть лишено якоря христианства, который когда-то удерживал средневековое общество от сползания в дикость. Речь может идти о принципиально другом, «неоязыческом Средневековье» - длительном периоде архаизации, «новой дикости», коллективных суеверий и секулярных культов. Наблюдается немало признаков такого сценария. Это и приход к власти фундаменталистских движений на Ближнем Востоке, и неонацизм, которым был пропитан «майдан», и моральный террор «актуального искусства» (Femen и проч.) как форма политического самовыражения. А также феодализация и архаизация привычных социальных и экономических институтов.

Сегодня обществу предстоит сделать выбор между откровенной неоархаикой и синтезом христианских и гуманистических ценностей. Не случайно отмеченные проявляющиеся тенденции в современной политике вызывают масштабные идеологические и идейные дискуссии, вызывают неоднозначные политические практики. На вопрос о том, каковы условия, предпосылки и перспективы такого выбора, автор попытался дать ответ в данной книге.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Fukuyama Francis*. The End of History and the Last Man. Free Press, 1992.
2. *Samuel P. Huntington*. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order; 1996.
3. *Wallerstein I*. Marx, Marxism-Leninism, and Socialist Experiences in the Modern World-System / I. Wallerstein. – Binghamton (N.Y.): Fernand Braudel Center, 1989.
4. *Wallerstein I*. State in the Institutional Vortex of the Capitalist World-Economy // International Social Science Journal. – P. 19809. – Vol. 32. – № 4.
5. *Александров, А.* Памяти К. Н. Леонтьева. Письма Леонтьева К. Н. Анатолию Александрову / предисл. и примеч. А. А. Александрова. – Сергиев Посад : тип. Св.-Тр.-Сергиев. лавры, 1915. – 129 с.
6. *Арендт, Х.* Истоки тоталитаризма / Х. Арендт ; пер. с англ. И. В. Борисовой, Ю. А. Кимелева, А. Д. Ковалева и др. – М.: ЦентрКом, 1996. – 672 с.
7. *Валлерстайн, И.* Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация / И. Валлерстайн. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 176 с.
8. *Вебер, М.* Избранные произведения / перевод с нем., сост., общ. ред. и послесловие Ю. Н. Давыдова; предисл. П. П. Гайдено. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.
9. *Димитров, Г.* Избранные произведения. В 2-х т. Т. 1 (1910–1937 годы) [пер. с болгарского] / Г. Димитров. – М.: Госполитиздат, 1957. – 526 с.
10. *Дугин, А.* Философия традиционализма / А. Дугин. – М.: Арктогея-Центр, 2002. – 624 с.
11. *Кагарлицкий, Б.* Счет на миллионы. Хороший фашизм и фашизм плохой / Б. Кагарлицкий. – «Русская жизнь». – 2009. – № 9.

12. Мадюкова, С. А., Попков, Ю. В. Феномен социокультурного неотрадиционализма / С. А. Мадюкова, Ю. В. Попков; под ред. Е. А. Тюгашева. – СПб.: Алетейя, 2014. – 132 с.

13. Макаров, А. И. «История» и «традиция» в философии европейского традиционализма (Рене Генон и Мирча Элиаде): автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / А. И. Макаров. – Волгоград, 1999. – 26 с.

14. Маркарян, Э. С. Теория культуры и современная наука / Э. Маркарян. – М.: Мысль, 1983. – 284 с.

15. Медовников, Д., Механик, А. Производительные силы, подъем! / Д. Медовников, А. Механик. – «Эксперт». – 2014. – № 27.

16. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. V. – М.: Издательство иностранной литературы, 1962.

17. Перелом. Сборник статей о справедливости традиции / сост. А. В. Щипков. – М.: Пробел-2000, 2013. – 184 с.

18. Поппер, К. Р. Открытое общество и его враги. В 2-х т. / К. Р. Поппер. – М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. – 448+528 с.

19. Саркисянц, М. Английские корни немецкого фашизма. Отбританской кавстробаварской «расе господ» / М. Саркисянц; перевод с нем. М. Некрасова. – СПб.: Академический проект, 2003.

20. Фигнер В. Запечатленный труд. В 2-х т. Т. 1 / В. Фигнер. – М.: Мысль, 1964.

21. Хомский, Н. Аспекты теории синтаксиса / Н. Хомский. – М.: Издательство московского университета, 1972.

22. Цветков, А. После прочтения уничтожить / А. Цветков. – С-Пб.: Амфора, 2009. – 190 с.

23. Черняховский, С. Традиция, модерн и Сверхмодерн / С. Черняховский // Перелом. Сборник статей о справедливости традиции. – М.: Пробел-2000, 2013.

24. Der Untermensch. Herausgeber: Der Reichsführer-SS SS-Hauptamt. Berlin, 1942 [Электронный ресурс]. – URL: <http://psyfactor.org/lib/untermensch.htm> (дата обращения 14.08.2014).

25. Ашкерова, А. Псаки как диагноз [Электронный ресурс]. – URL: <http://izvestia.ru/news/572256> (дата обращения 12.08.2014).

26. *Бабич, Д.* «Новая» Могилянка: из «борьбы с москалями» – безбожие [Электронный ресурс] // URL: http://www.religare.ru/2_104653.html (дата обращения ...).

27. *Жосул, Е.* Перелом как витальный диагноз. О сборнике статей о справедливости традиции [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.pravmir.ru/perelom-kak-vitalnyj-diagnoz/> (дата обращения 14.08.2014).

28. *Кантор, М.* Последняя скрепа [Электронный ресурс] / Газета.ru 19 мая 2014.– URL: <http://www.gazeta.ru/comments/column/kantor/6038901.shtml> (дата обращения 15.08.2014).

29. *Кантор, М.* Скифы в банке [Электронный ресурс]. – URL: <http://belport.by/106315-skify-v-banke.html> (дата обращения 14.08.2014).

30. *Рассел, Б.* История западной философии [Электронный ресурс]. – URL: [read.newlibrary.ru»read/rassel_bertran/page0](http://read.newlibrary.ru/read/rassel_bertran/page0) (дата обращения ...).

31. *Свенцицкий, В.* Христиане и предстоящие выборы [Электронный ресурс]. – URL: http://www.religare.ru/2_90613.html (дата обращения 12.08.2014).

32. *Сусов И. П.* Лингвистическая прагматика [Электронный ресурс]. – URL: <http://homepages.tversu.ru/~ips/Pragmf.html> (дата обращения 12.08.2014).

33. *Тертуллиан.* О плоти Христа / Tertullian. On the Flesh of Christ. М., 1994, [Электронный ресурс]. – URL: http://www.tertullian.org/russian/de_carne_christi_rus.htm (дата обращения 14.08.2014).

34. Долгосрочная цель санкций – смена правящего режима [Электронный ресурс]. – URL: <http://lenta.ru/articles/2014/07/27/lukeyanovworld/> (дата обращения 14.08.2014).

35. Зеркало Крыма – Признания опасного человека [Электронный ресурс]. – URL: http://zerkalokryma.ru/lenta/people/interview/klan_dolzhen_byt_odin_krymchane/ (дата обращения 14.08.2014).

36. Максим Кантор о том, что сегодня мир оказался в том самом пункте, где он был в тридцатые годы [Электронный ресурс] – URL: http://vk.com/wall-57566666_3366?w=aw-57566666_3366 (дата обращения 15.08.2014).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аквинский Ф. 68
Аксаков К. 68
Арендт Х. 19, 21–24,
28–32, 38
Асад Б. 8, 51
Ахиезер А. 46
Ашкеров А. 37
- Бабич Д. 11
Бандера С. 48, 58
Бенуа А., де 42
Бердяев Н. 68
Бжезинский З. 21
Блаватская Е. 33
Бурдые П. 34, 40
Буткевич Б. 9, 24
Буш Дж. 63
- Валлерстайн И. 14,
44, 45
Вебер М. 23
Вессель Х. 26
- Гавел В. 11
Галилей 44
Генон Р. 42, 43
Гитлер А. 11, 18, 24,
30, 58
Глюксман А. 34
Горбачев М. 35
Грозный И. 56
- Джордж С. 20
Димитров Г. 21
Достоевский Ф. 69
Дугин А. 43
Дыбенко М. 25
- Жижек С. 26
Жосул Е. 59
Жюли С. 34
- Засулич В. 70
- Кагарлицкий Б. 19,
22, 23
Кантор М. 16, 18
Киплинг Р. 13
Кирдин С. 46
Крючков О. 25
- Леонтьев К. 67
Лесков Н. 69
Лукьянов Ф. 6
- Мадюкова С. 56
Макаров А. 42
Маклюэн М. 51
Маркарян Э. 42
Маркс К. 41, 42, 70
Муссолини Б. 23, 38
- Нольте Э. 18
- Обама Б. 8, 27
Остин Дж. 39
- Петлюра С. 58
Платон 28
Плеханов Г. 70
Попков Ю. 56
Поппер К. 22, 28, 38
Псаки Дж. 9, 37
Пугачев Е. 69
Путин В. 27
- Рассел Б. 41
Рифеншталь Л. 24
Розанов В. 69
- Саркисянц М. 18
Сартр Ж.-П. 34
Седжвик М. 42
- Тимошенко Ю. 9, 11
Толстой Л. 69
Трубецкой Н. 68
- Фай Г. 42
Фигнер В. 69
Флоровский Г. 68
Форд Г. 62
Франк С. 68
Фуко М. 34
Фукуяма Ф. 8, 35
- Хаббард Р. 33
Хайек Ф. А., фон 22
Хантингтон С. 7, 36
Хомский Н. 54
Хомяков А. 67, 68
- Черчилль У. 11
- Шаламов В. 11
Шуффрич Н. 11
Шухевич Р. 48, 58
- Эвола Ю. 42
- Яценюк А. 14, 26

ОБ АВТОРЕ

Щипков Александр Владимирович – политолог, публицист, кандидат философских наук, действительный государственный советник 3 класса, директор Московского центра социальных исследований, главный редактор интернет-журнала RELIGARE.ru.

Один из ведущих специалистов в России по церковно-государственным отношениям. Автор множества научных и публицистических статей о религиозно-политической ситуации в России.

Автор книг:

– «Во что верит Россия» (курс лекций по социологии религии в С.-Петербургском государственном университете, 1998 г.)

– «Соборный двор» (сборник публицистических статей по церковно-государственным отношениям, 2003 г.)

– «Христианская демократия в России» (анализ российского христианского политического движения, 2004 г.)

– «Территория Церкви» (анализ антицерковной информационной кампании 2011–2012 годов, 2013 г.)

– «Религиозное измерение журналистики» (книга для чтения студентов факультетов журналистики, 2014 г.)

– Составитель и автор сборника «ПЕРЕЛОМ» (сборник статей о справедливости традиции; с участием В. Третьякова, С. Черняховского, Евг. Белжеларского, М. Тюренкова, В. Потапова, М. Кантора, А. Щипкова; 2013 г.)

ABOUT THE AUTHOR

Shchipkov Alexander Vladimirovich is a political expert, columnist, PhD, 3rd class active state advisor, director of Moscow Centre for Social Studies, editor-in-chief at Religare.ru. One of the leading experts in church-and-state relations. Author of a number of scientific and journalistic articles on religious and political situation in Russia.

Books:

- «What Russia believes in» (Lectures on religious sociology at Saint-Petersburg University, 1998)
- «Cathedral Court» (Articles on the church-and-state relations, 2003)
- «Christian Democracy in Russia» (analysis of the Russian Christian Political Movement, 2004)
- «The Territory of Church» (analysis of the 2011–2012 information campaign against Church, 2013)
- «The Religious Dimension of Journalism» (reading book for students in journalism, 2014)

Научное издание

Щипков Александр Владимирович

Традиционализм, либерализм и неонацизм

в пространстве актуальной политики

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*

Дизайн обложки *И. Н. Граве*

Литературный редактор *А. А. Климова*

Оригинал-макет *Л. Г. Иванова*

Корректор *Д. А. Потапова*



ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»,

192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.

Тел./факс: (812) 560-89-47

Редакция издательства «Алетейя»:

СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,

тел. (812) 577-48-72, aletheia92@mail.ru

Отдел продаж: fempro@yandex.ru, тел. (921) 951-98-99

www.aletheia.spb.ru

*Книги издательства «Алетейя» можно приобрести
в Москве:*

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru

Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83

Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.

Тел. (495) 915-27-97

Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.

Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

Магазин «Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16

в Киеве:

«Книжный бум», книжный рынок «Петровка», ряд 62, место 8.

Тел. +38 067 273-50-10, gron1111@mail.ru

в Минске:

«Экономпресс», ул. Толбухина, 11. Тел. +37 529 685-70-44, shop@literature.by

в Варшаве:

«Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego»,

ul. Ptasia 4. Тел. (22) 826-17-36, szkola@jezykrosyjski.com.pl

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Формат 84x108¹/₃₂. Усл. печ. л. 4,20. Печать офсетная.

Заказ №



Щипков Александр Владимирович — политолог, публицист, кандидат философских наук, действительный государственный советник 3 класса, директор Московского центра социальных исследований, главный редактор интернет-журнала RELIGARE.ru. Один из ведущих специалистов в России по церковно-государственным отношениям. Автор множества научных и публицистических статей о религиозно-политической ситуации в России.

Автор книг:

- «Во что верит Россия» (курс лекций по социологии религии в Петербургском университете) СПб, 1998.
 - «Соборный двор» (сборник публицистических статей по церковно-государственным отношениям) М. 2003.
 - «Христианская демократия в России» (анализ российского христианского политического движения) М. 2004.
 - «Территория Церкви» (анализ антицерковной информационной кампании 2011-2012 годов) М. 2013.
 - «Религиозное измерение журналистики» (книга для чтения студентов факультетов журналистики) М. 2014.
- Составитель и автор сборника «ПЕРЕЛОМ» (сборник статей о справедливости традиции; с участием В. Третьякова, С. Черняховского, Евг. Белжеларского, М. Тюренкова, И. Потапова, М. Кантора, А. Щипкова) М. 2013.